РОВЕСНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА
№ 8/85
Август



В НОМЕРЕ:

Этот снимок сделан в пионерском лагере «Альбатрос» под Ленинградом, где вместе с советскими пионерами провели лето польские харцеры. Ребята ходили в походы по местам боев с фашистскими захватчиками, разучивали пионерские и харцерские песни, словом, постигали науку дружбы.

Фото А. КОНДРАТЬЕВА



СИДНЕЙ. 350 тысяч австралийцев приняли участие в маршах мира, которые прошли по всем крупным городам страны. Сотни различных организаций прислали своих представителей в Сидней, где состоялась самая массовая в истории Австралии демонстрация: врачи, юристы, ученые, школьники, студенты колледжей и университетов, члены Социалистического союза молодежи Австралии, социалистической и других партий, профсоюзов, представители этнических групп, женских и церковных объединений шли в едином строю под лозунгами «Мир и ядерное разоружение!», «Нет — военным базам США!», «Разбить американские ядерные оковы!», «Нет — испытаниям ракет МХ в Австралии!». Как считает газета социалистической партии Австралии «Гардиан», этим маршем австралийское движение за мир продемонстрировало небывалую массовость и единство требований граждан в вопросах мира и разоружения. На снимке вверху — марш мира в Сиднее.



ПРАЯ. Правительство Республики Зеленого Мыса и Африканская партия независимости Островов Зеленого Мыса (ПАИКВ) приняли программу — добиться полного искоренения неграмотности, тяжелого наследия колониализма, к 1990 году. С 1983 по 1985 год общеобразовательные курсы окончили около 20 тысяч человек (население республики 320 тысяч). Общенациональная кампания по ликвидации неграмотности набирает темп.

ХАНОЙ. Преподаватели и студенты Ханойского политехнического института вместе с сотрудниками института механики сконструировали первый в Социалистической Республике Вьетнам промышленный робот. Его «специальность» — обработка металлов давлением. Внедрение в промышленность роботов — перспективное направление развития народного хозяйства СРВ.

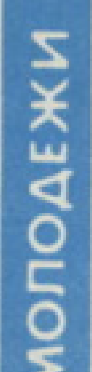
ВЬЕНТЬЯН. «Счастлив тот, у кого есть добрые друзья»,— говорят в Лаосе. У ЛНДР теперь много друзей — Советский Союз и другие социалистические страны. При содействии Советского Союза за годы народной власти здесь сооружены мост через реку Нён, госпиталь, нефтебаза, станция космической связи системы «Интерспутник», метеорологическая станция, восстановлена добыча оловянного концентрата, проведены геологоразведочные работы. Создаются метеорологическая, ветеринарная и агрохимическая службы. В 1960 году в Лаосе только десять человек имели высшее образование, сейчас в республике уже сотни людей с высшим образованием, а в учебных заведениях социалистических стран учатся более 10 тысяч молодых лаосцев. На снимке — уборка урожая в кооперативе Нам Нгум.





БЕРЛИН. Во Дворце пионеров и школьников Дрездена работает 180 кружков и секций. Ребята проводят здесь сборы и прием в пионеры, подростки из соседних кварталов приходят в парк, окружающий Дворец, играть в «индейцев» и «следопытов», малыши резвятся в Римской купальне. Сам дворец был когда-то летней резиденцией принца прусской династии, а с 1925 года собственностью города. После освобождения Дрездена от гитлеровцев советская военная администрация отреставрировала здание за свой счет. В 1951 году в бывшей резиденции принца был открыт первый в ГДР Дворец пионеров и школьников. На снимке вверху — на занятиях в классе ваяния и лепки.

ПРАГА. Недавно студенты университета имени Палацкого в городе Оломоуц завершили оборудование своего клуба и назвали его «У-клуб» (Университетский клуб). Новое здание со зрительным залом и помещениями для занятий кружков и секций сразу завоевало популярность у молодежи. Здесь встречаются студенты и рабочие, к ним приезжают артисты театров Оло-



моуца, Праги, Брно и других городов, проходят конкурсы современных и бальных танцев. В студенческом клубе нет штатных работников, всю организационную работу ведет совет клуба, а техническую выполняют дежурные факультеты.

БЕЛГОРОД. «Ровесник» получил письмо из Белгорода «Наш вклад в Международный год молодежи». Его автор, учительница Нина Андреевна Богомазова, рассказывает о дружбе белгородских комсомольцев с молодежью ГДР, в частности, о том, как ученики старших классов школы № 29 участвовали в викторине журнала «Нойес лебен», посвященной очередной годовщине образования ГДР, и двое из них вошли в число победителей. Сочинение десятиклассницы Ольги Гурьевой «Я голосую за мир» было напечатано в газете Союза свободной немецкой молодежи «Юнге вельт». Н. А. Богомазова пишет: «Кто самый лучший солдат? Каждый, кто не допустит войны. Для нас, белгородских комсомольцев, бороться за мир — значит отдавать все силы, знания, творческую энергию утверждению социализма. Из усилий отдельного человека, из многих «я» возникает такое важное «мы».

САН-САЛЬВАДОР. Почти в 33 раза возросла американская военная помощь сальвадорским властям за



последние пять лет, с 5,9 миллиона долларов в 1980 году до 197 миллионов в 1984-м. А вот так (снимок вверху) выглядит, в частности, применение этой помощи: каратели проводят «профилактическую» операцию в школе с целью выявить тех, кто симпатизирует партизанам. Доллары, которые получают армия, полиция, «эскадроны смерти», несут смерть сальвадорским детям, женщинам, крестьянам, рабочим — всему народу. Число павших от рук палачей уже превысило 50 тысяч человек.

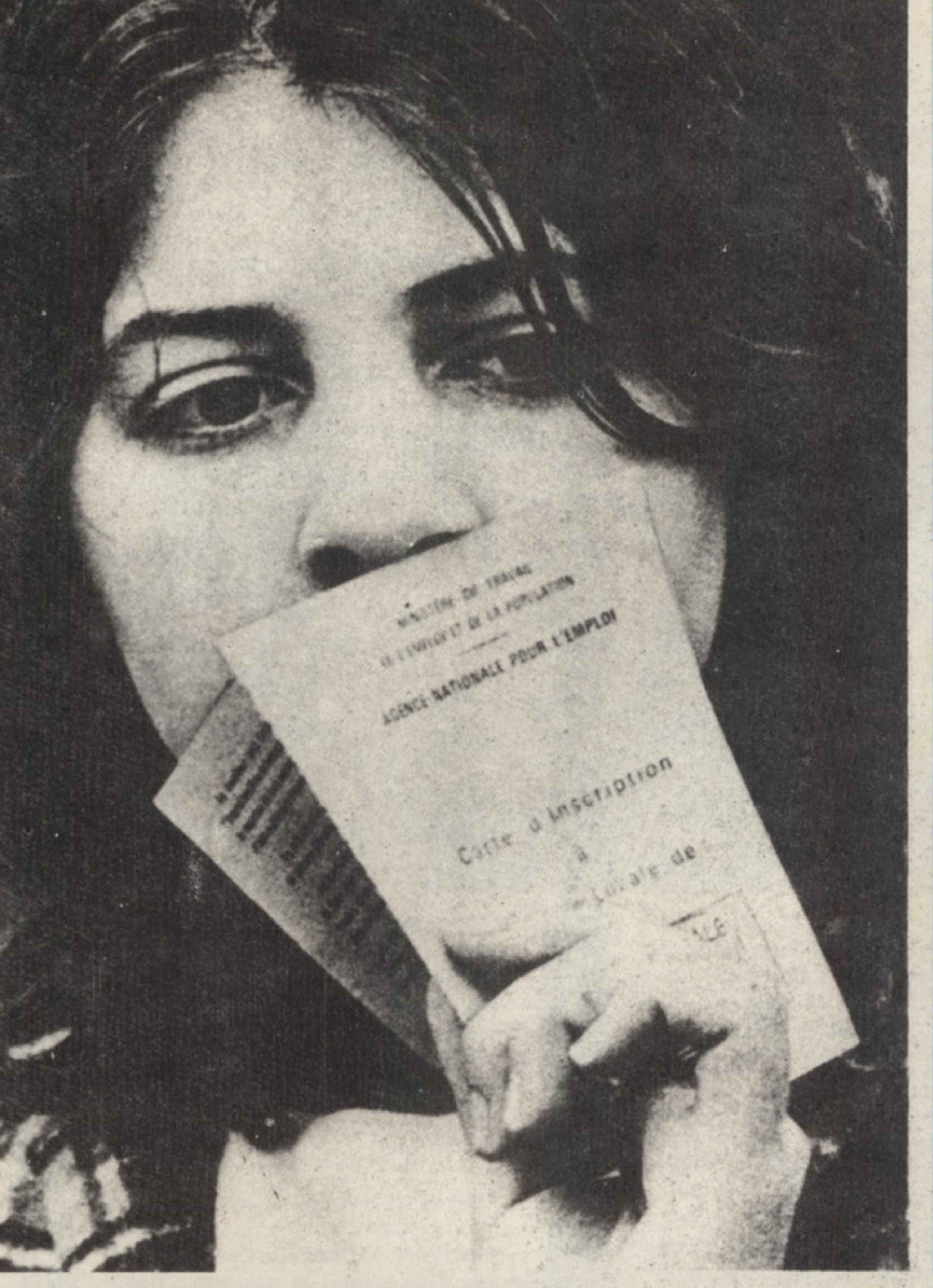
КАБУЛ. В провинции Герат строится ирригационный комплекс Салмэ, современное инженерное сооружение стоимостью несколько миллиардов афгани. Его проектная мощность 74 тысячи гектаров орошаемых земель. Контрреволюционеры сделали этот жизненно важ-



ный объект мишенью своих атак. Были разрушены многие сооружения, взорван жилой поселок строителей и эксплуатационников, убиты три члена Народно-демократической партии Афганистана. Это наглядный пример того, в каких условиях идет развитие и обновление страны. Но контрреволюции не удастся повернуть жизнь вспять. Возобновляется строительство в Салмэ, идут работы по еще 32 ирригационным проектам, включенным в государственный план. Повсеместно осуществляется земельно-водная реформа — основа основ демократических преобразований в крестьянской стране. Приходит электричество в деревенские дома. Афганскому народу братскую помощь оказывают Советский Союз, другие социалистические страны. На снимке внизу — советские и афганские специалисты вместе работают на строительстве подстанции в городе Мазари-Шариф.

ПНОМПЕНЬ. Министерство народного образования Народной Республики Кампучии удостоило переходящего Красного Знамени провинцию Баттамбанг за успехи в области просвещения: только за год число школ здесь выросло в полтора раза. Сегодня в Кампучии имеют возможность учиться более 90 процентов детей — это один из впечатляющих успехов народной власти.

ЛОНДОН. Кэти Месситер, сотрудница английской контрразведки, четырнадцать лет вела досье на участников Движения за ядерное разоружение. Она аккуратно подшивала в «дела» своих соотечественников записи подслушанных телефонных разговоров, сообщения шпиков о том, что кто-то из участников движения дал интервью советскому журналисту или живет в одном доме с членом Коммунистической партии Великобритании. После решения правительства разместить в Англии американские ядерные ракеты работы у Месситер прибавилось, в ее досье попали сотни тысяч человек. В их действиях Кэти не находила ничего противозаконного, никакой «подрывной активности». За разъяснениями она обратилась к начальству, ей посоветовали сходить к психиатру и тут же избавились от «превысившей служебные полномочия» сотрудницы (в обязанности Месситер не входило задумываться над выполняемой работой). Корреспонденты английского телевидения взяли у нее интервью, но на передачу был наложен запрет: о противозаконной слежке за участниками движения за мир не должны знать граждане страны, которая хвалится своей «старейшей демократией».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МОЛОДЕЖИ ■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МОЛОДЕЖИ



СМОТРИТЕ:

И снова на сцены безработицы, снова на сцены борьбы за работу. Но жизнь не театр, а толпы людей не статисты в какой-то бесконечной пьесе или фильме, разыгрываемых в декорациях различных стран капиталистического мира, где даже роль статиста с его грошовым заработком — это уже работа, это многократно лучше, чем безнадежная надежда, которую дает девчонке, только что окончившей коллеж, вместе с дипломом карточка безработной (снимок вверху слева, Франция) — жди! Топтание в очереди на бирже труда (снимок вверху справа, Ирландия) — ждите!! Пустая миска, в которую, может быть, плеснут, если хватит, половник бесплатной похлебки — ждите!!! (Снимок внизу справа, Чили.) А тем, кто дождался работы и не хочет мириться с ее утратой (снимок внизу слева, Англия),— полицейская дубинка — получайте!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МОЛОДЕЖИ ■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МОЛОДЕЖИ



Я СТРОИЛ ЭТОТ ГОРОД

М. ШИШКИН,
Л. ОГАРЕВ (фото),
наши спецкоры

Наверное, нет такой области науки, техники, производства, в которой не сотрудничали бы сегодня государства — члены СЭВ. Социалистическая экономическая интеграция стала мощным и стабильным фактором всестороннего прогресса братских стран. Совместное решение возникающих проблем, опора на помощь друг друга — вот залог динамичных темпов роста экономики, ускорения научно-технического развития, подъема уровня жизни и культуры стран — членов содружества. На Экономическом совещании стран — членов СЭВ на высшем уровне, состоявшемся в Москве 12—14 июня 1984 года, главное внимание было сосредоточено на перспективе дальнейшего углубления и совершенствования разносторонних связей братских стран, определены долговременные направления взаимодействия в ключевых отраслях народного хозяйства, в области научно-технического прогресса. Коллективно выработанная долгосрочная стратегия действий, отвечающая интересам каждой страны и всего содружества, нашла свое выражение в «Заявлении об основных направлениях дальнейшего развития и углубления экономического и научно-технического сотрудничества стран — членов СЭВ» и в других программных документах совещания.

Уже стало традицией, что братские союзы молодежи социалистических стран берут шефство над совместными стройками содружества. Достаточно вспомнить нефтепровод «Дружба», ударные стройки Усть-Илимского территориально-производственного комплекса, газопровод «Союз». И теперь молодежь не уступает своего места в первых рядах строителей. Ленинский комсомол, братские союзы молодежи социалистических стран берут совместное шефство над научно-техническими программами, охватывающими цикл «Наука — техника — производство».

Среди них одно из ключевых мест занимает ускоренное развитие атомной энергетики, которая становится наиболее перспективной в решении проблемы удовлетворения растущих потребностей стран СЭВ в источниках энергии. Электростанции, работающие на силе атома, обеспечивают народное хозяйство дешевым, экологически безвредным и практически неисчерпаемым источником энергии. Советский Союз бескорыстно и щедро делится с братскими странами опытом и знаниями в мирном использовании энергии атома. При содействии СССР в странах содружества до 1990 года предстоит «зажечь» целое созвездие АЭС мощностью в десятки миллионов киловатт. 50 производственных коллективов восьми социалистических государств





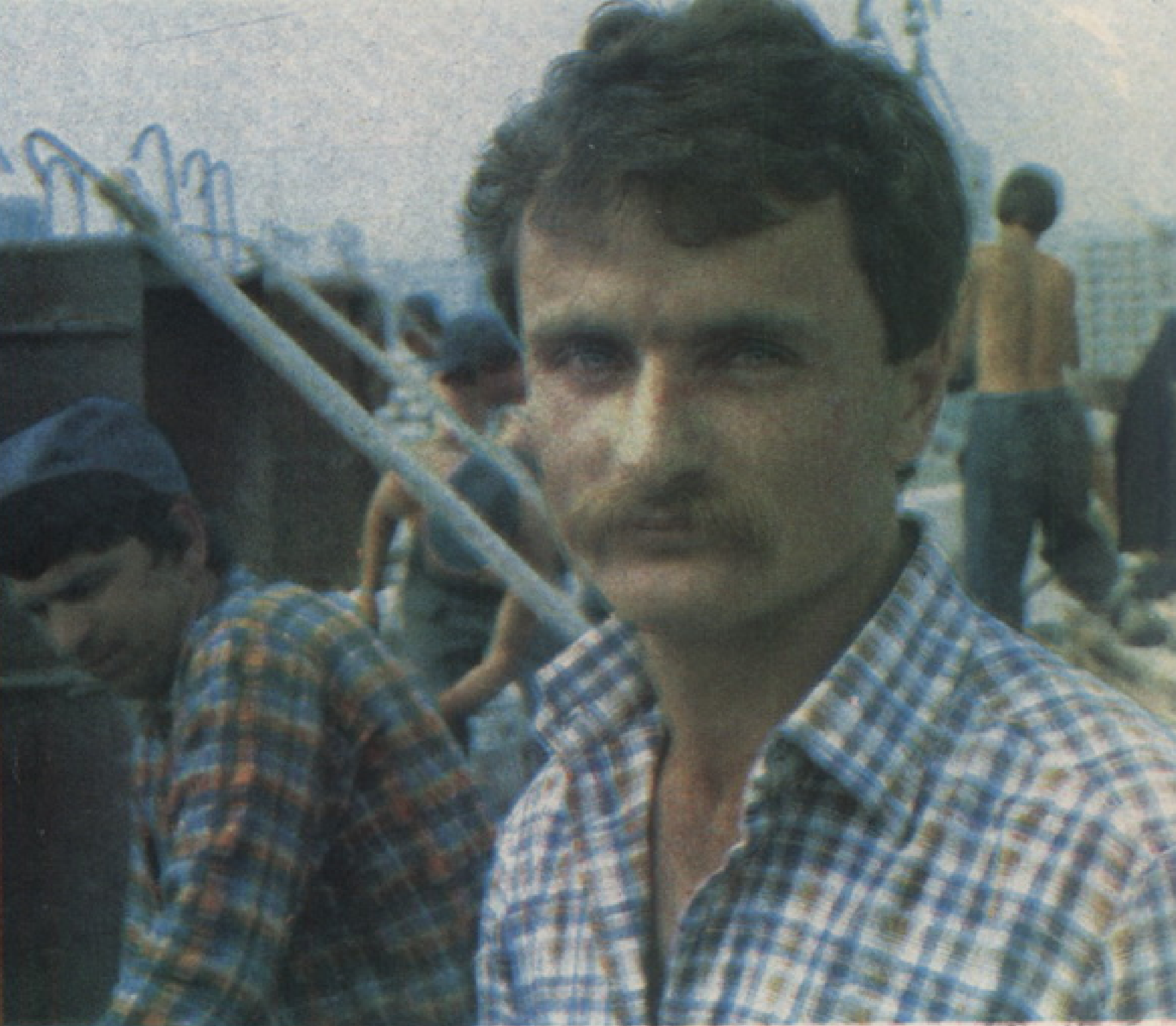
участвуют в реализации крупнейшего в истории СЭВ многостороннего соглашения о взаимных поставках оборудования для АЭС, а специалисты из братских стран работают на строительстве атомных электростанций в СССР.

Наши специальные корреспонденты побывали в городе Нетешине, где на огромной строительной площадке совместно с советскими специалистами трудятся специалисты — инженеры, рабочие и техники из Польской Народной Республики. Здесь будет Хмельницкая АЭС и город.

Эта стройка — яркое проявление сути всей системы СЭВ — взаимовыгодного сотрудничества. ПНР будет получать часть электроэнергии, вырабатываемой Хмельницкой АЭС, а на карте Украины появился новый город, построенный руками рабочих братской страны, с магазинами и кафе, больницей и музыкальной школой, автовокзалом и ПТУ. Ждут своей очереди Дворец культуры, стадион, зоны отдыха. Тон в работе задают комсомольско-молодежные бригады, такие, как, например, бригада Владимира Павличука, занявшая первое место в соцсоревновании в прошлом году, или бригада каменщиков Матраса Хенрика, которая трижды выходила на призовые места. Но строить вместе — это не только ударный труд, это и соревнования на спортплощадках, конкурсы профессионального мастерства, фестивали песен, вечера отдыха. Это еще дружба и молодость.

Пройдет немного времени, энергоблоки дадут ток, разъедутся на новые объекты строители. Останется построенный ими город. И дружба.





Светофор

День был так себе. Тучи сидели низко, прямо свешивались с прогнувшихся под их тяжестью проводов ЛЭП, будто вывесили белье для просушки и теперь с него капало. От соснового промокшего леса на городок наползал туман. Туман был густой, и за ним еле проступали башенные краны, дома без крыш, строительные вагончики.

На перекрестке КрАЗы, КамАЗы и «татры», огромные, окутанные клубами мокрой пыли, тормозили. Шоферы вылезали на подножку под дождь и смотрели, как идет работа. По всей стройке быстро разнеслась новость: в городке устанавливают первый светофор.

С проводкой что-то не ладилось, и светофор зажегся только вечером.

Люди возвращались после смены, останавливались и смотрели. Потом шли домой. В общем-то это был обыкновенный светофор.

Не было перекрестка, появился перекресток.

Не было светофора, появился светофор.

Не было города, появился город.

В тот первый вечер дома не сиделось, и, несмотря на дождь, все шли на улицу как в праздник. Мокрый бетон дороги зажигался то красным, то оранжевым, то зеленым.

Был праздник первого светофора.

Чеслав Якубовски, шофер

Сначала был нефтепровод. Нитка тянулась из Сургута. Поляки строили участок Андреаполь — Новополоцк.

Приехали на трассу зимой. Их встретили сугробы с двухэтажный дом, крепкие русские морозы и улыбающиеся люди — усы и бороды, белые от инея, будто мотки алюминиевой проволоки.

Сперва было трудно. «Труба» шла через леса и болота. Все было непривычно: и суровый климат, и огромные просторы, и медведь, который однажды вышел на дорогу, Чеслав еле успел затормозить, так они стояли и смотрели друг на друга.

Каждый день Чеслав писал домой письма. Иногда они были совсем короткими. Он писал, что у него все в порядке, что он любит и ждет. Письма Кажимиры пахли домом. Он раскрывал конверт и вдыхал в себя запах бумаги. Иногда она присылала фотографии маленького Кшиштова, голого карапуза — ножки вверх, будто он аплодирует пятками,— и каждый раз писала, сколько он прибавил в весе. Чеслав брал на руки книги или подушку, чтобы представить себе, сколько теперь весит его сын.

Это случилось между Великими Луками и Торопцом.

Он возвращался поздней ночью на базу. Это была последняя машина. С ним был русский парень, тоже шофер, попросил подвезти. К вечеру ударил мороз, и стекло кабины покрылось слоем льда, дорогу было видно только в лунку величиной не больше рабочей рукавицы. Неожиданно мотор фыркнул и машина остановилась. Пытались починить сами, ничего не получилось, только задубели на морозе пальцы. До людей двадцать километров, и ни одной машины до утра.

Чеславу стало не по себе. В детстве он любил читать Джека Лондона о том, как его герои вступали в схватку с «белым безмолвием», но никогда не думал, что сам окажется в огромном промерзшем пространстве с почти незнакомым человеком. До утра так далеко, а мороз все крепче и крепче.

Алексей улыбнулся, ткнул Чеслава в плечо и сказал. что





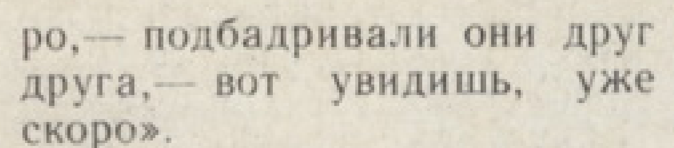


теперь им тут сидеть и куковать до утра, так и сказал — куковать. Они сидели в кабине и курили. Потом, когда в кабине, казалось, стало холоднее, чем снаружи, они вылезли, взяли запасное колесо, облили соляркой и подожгли.

Они топтались у костра, поворачиваясь к огню то одним боком, то другим, и разговаривали.

Время тянулось медленно, иногда в темноте слышался звук мотора, но это им только казалось. Замерзшие ноги хотелось сунуть прямо в огонь.

Они сидели обнявшись, и Алексей рассказывал, какие его мама делает замечательные пельмени. Они мечтали о том, как Чеслав с женой приедет к Алексею в гости, и, чтобы не заснуть, толкали друг друга в бок. «Уже ско-



ро,— подбадривали они друг друга,— вот увидишь, уже скоро».

Тот шофер, который подобрал их на дороге, потом рассказывал, что больше всего его удивило: откуда здесь негры? От копоти их лица были совершенно черные.

Чеславу пришлось поваляться в больнице, но все обошлось.

Однажды к ним доставили молодого парня, тоже поляка. Требовалась срочная операция. Из Калинина прилетели хирурги, совсем молодые ребята. Операция шла с десяти вечера до трех утра. Нужна была кровь, и прибежала почти вся база, русские и поляки. Чеслав видел неподдельное огорчение на лицах тех, чья группа крови не подошла, они так хотели помочь этому парню. Боялись, что он не выживет, но хирурги сделали чудеса, и поляк уехал домой здоровым.

Первые дни в больнице, когда у Чеслава был жар, ему часто снился один и тот же сон. Гроза, где-то громыхают раскаты грома, они с Кажимирой попали под ливень и, промокнув до нитки, залезли в кабину его самосвала. Кажимира хохочет и, открыв дверцу, выжимает подол платья и волосы. Однажды он проснулся и лежал с закрытыми глазами, но далекие, приглушенные раскаты грома продолжались. Он открыл глаза. Это медсестра разворачивала простыни, тугие, твердые от крахмала, только что из прачечной. «Уже жалеешь, наверно, что приехал сюда? — спросила она.— В следующий раз не поедешь?» Чеслав улыбнулся. Он хотел сказать, что нисколько ни о чем не жалеет. И даже наоборот. Он даже благодарен своей жизни за то, что узнал что-то важное. Что-то главное, которое не выразишь словами. Он еще недостаточно хорошо знал русский и поэтому просто улыбнулся ей.

И вот он приехал работать в эту страну снова.



Мечислав Глух, пожарник

Мечислав Глух сидел на табуретке посреди маленькой комнатки один и смотрел в окно. Вот и закончилась его выставка, выставка Мечислава Глуха, пожарника.

В маленьком прикарпатском городке Макове-Подхаланьском резьбой по дереву никого не удивишь. Этим занимаются все жители без исключения. И наверно, дед Мечислава действительно был мастером своего дела, если все соседи восторженно качали головами и цокали языком, когда речь заходила о работах старого Глуха. Старый мастер сажал мальчика рядом с собой и брал в руку деревяшку. «Вот смотри,— говорил он,— это дерево. Пока оно немое, мертвое. Но в твоих руках оно становится частичкой тебя». Деревянные чурки на глазах превращались в забавных зверей, диковинных птиц или в добрых лесных человечков.

Художником, как хотел дед, Мечислав не стал, пошел в пожарные и приехал на строительство Хмельницкой атомной.

Он приехал, когда польский городок еще только строился, кругом работали бульдозеры и экскаваторы, а от домика к домику ходили по доскам, разбрасывая для равновесия руки. Закончив свой первый рабочий день, он взял в руки лопату, грабли и пошел делать клумбы. Каждому, кто подходил и смотрел, как он работает, Мечислав объяснял, что нельзя строить новый город «вчерне», а потом переделывать его начисто. По штатному расписанию новому городу еще не был положен садовник, и Мечислав Глух в свободное от работы время устраивал газоны и сажал цветы. Ему помогали и поляки и советские. Все вместе они стали строить свой новый город «набело».

И все-таки он был пожарником, и притом хорошим. Хотя бы потому, что за три года не было ни одного пожара. Каждый праздник ему торжественно вручали грамоты, и немного растерянно поднимался он на сцену под оглушительные аплодисменты.

Но вот однажды Мечислав Глух пошел в лес. Он шел просто так, но судьба вывела его по забросанной шишками тропинке именно к ней. Коряга была огромной и грациозной. Мечислав потерял сон, аппетит и успокоился только тогда, когда с ножом и пожарным топориком снова отправился в лес.

Через неделю на центральной лужайке перед входом в клуб появилась первая в городе скульптура. Лесное чудище приглашало в кафе «Атом-клуба».

Мечислав разглядывал свои руки и думал о деде. Руки сами тянулись вырезать, но

не было мягкого дерева. Както Мечислав сказал об этом советским ребятам. Просто так сказал, за чаем. Через два дня они принесли ему мягкой чудесной липы. Оказалось, специально для этого ездили в Славуту. Мечислав счастливо улыбался и не знал, как их отблагодарить. «А ты вырежи что-нибудь красивое»,— говорили они. Мечислав видел: им было приятно доставить ему радость.

Город строится. Строятся дома, школы, магазины, стадионы, все, что нужно в первую очередь. Когда-нибудь построят и музей. Может быть, в нем будет и зал Мечислава Глуха, первого пожарника и скульптора нового города из Польши.

Мечислав собрал свои доски, фигурки и пошел в общежитие, здороваясь с каждым встречным, потому что здесь все всех знают. Когда он еще будет, этот музей, а пока Мечислав придумал, как можно сделать во дворе нового, только что построенного дома детский городок. И даже присмотрел на опушке леса корягу. Хорошая такая коряга...

Анджей Казьмечак, сварщик

День своего тридцатилетия Анджей отметил здесь, на строительстве. Отмечать день рождения он вовсе не собирался, но ребята откуда-то узнали и испекли ему пирог. Именинный пирог вышел немного подгоревшим, но зато от всей души. Ребята даже свечки где-то достали. Тридцать маленьких свечек.

И все-таки, что ни говори, а день рождения — праздник грустный, особенно если ты далеко от дома, когда все ощущается немного острее: и время и расстояние. Привыкаешь, что у тебя все впереди, вся жизнь, и вдруг сидишь за столом и в именинном пироге горят, вздрагивая на сквозняке, тридцать твоих свечек.

Минуты, часы тянутся еле-еле, а месяц бежит за месяцем, и вот уже скоро год, как он приехал на эту стройку.

Прошел всего год, а как изменился город с того дня, как Анджей спрыгнул с подножки автобуса с рюкзаком на плече и огляделся. Еще не было этого автовокзала и музыкальной школы, еще не было этих домов и улиц. Город растет незаметно, как ребенок, только намного быстрее.

Работа была тяжелая, но он и приехал сюда работать. После смены валился на койку от усталости, ныли руки, спина. А назавтра, если в первую смену, подниматься в шесть утра, еще затемно, и только прожекторы высвечивают каркасы будущих зданий. Еще можно было урвать несколько минут сна в скрипучем, пропахшем спецовками автобусе «Трансбуда», и вот уже загорались то там, то здесь вспышки сварки.

После смены они вываливали шумной гурьбой из автобуса, который привозил их на базу, и шагали в столовую пропыленные, чумазые, усталые и счастливые. Потом, приняв душ, который мгновенно снимал усталость трудового дня, и переодевшись, выходили пройтись, подышать лесным воздухом. Сидели на берегу канала, обнявшего город двумя руками, смотрели, как пляшут поплавками в черной воде огоньки, и говорили о том, что будут делать дома, когда вернутся. Тех, у кого контракт уже заканчивался, провожали всей бригадой и просили обязательно позвонить своим.

Иногда Анджею казалось странным, что пройдет время и он соберет свои вещи, сядет в поезд и уедет. Было странно, что это так просто. Странно, что он просто попрощается с ребятами, с которыми так сдружился за этот год, и уедет из города, в котором останется так много его труда и пота. В котором останется часть его жизни.

Конечно, они здесь всего-навсего временные рабочие. Истечет время контракта, и они уедут домой. Наверно, можно относиться к этому и так: временные встречи ни к чему не обязывают, отработал свое и уехал. И все?

Что притягивает их на эту стройку? Почему многие продлевают контракт еще на год, и еще? Хорошие заработки? Да, и это тоже, но, наверно, не это главное. Если только этим интересоваться в жизни, можно стать самым бедным человеком на свете.

Анджей часто думал о том, что именно он вспомнит об этом времени потом, когда пройдет много-много лет. Их комнату в общежитии? Поздние разговоры, когда за стеной метель, вода уже закипает в стакане и пузырьки на кипятильнике огромные, как под лупой? А может быть, все исчезнет, сотрутся детали, подробности и останется только одно ощущение — теплоты человеческого общения?

О чем он расскажет своей Нарциссе, серьезному архитектору с мальчишеской стрижкой и таким цветочным именем, когда вернется домой? Дни набегают на дни, время торопится, и так хочется его удержать, хотя бы на бумаге.

В записную книжку, купленную в киоске «Союзпечати», он записывает все то, что будет потом рассказывать Нарциссе. Они привыкли делиться друг с другом самым дорогим, и он хочет сохранить для нее события, лица, встречи, которые подарила ему эта стройка.

Он расскажет о своих друзьях, о том, как они собирались вечерами, читали стихи, пели песни. Они не были ни театром, ни ансамблем, ни группой художественной самодеятельности. А может быть, были и тем, и другим, и третьим, и каждый мог к ним присоединиться.

Он расскажет о вечере поэзии в «Атом-клубе». Читали стихи, и допоздна никому не хотелось расходиться. Потом говорили о том, что хорошо бы подготовить вечер ко Дню Победы. Составили программу, но чего-то не хватало. И тогда Гена Емельянов, монтажник с главного корпуса, предложил написать песню самим. На следующий день он пришел с гитарой и протянул листок бумаги. Это была его песня. Их песня.

Еще Анджей расскажет Нарциссе о землянке и полевой кухне. Это было 9 Мая, перед их концертом. С утра прошел небольшой дождь, и в свежем сосновом воздухе далеко-далеко был слышен духовой оркестр. Ветер чуть раскачивал сосны, и трубы вспыхивали на солнце по очереди, волнами. Праздник Победы решили устроить недалеко от города, в лесу, где школьники нашли заброшенную военную землянку. Танцевали старый вальс прямо под соснами, под ногами поскрипывала хвоя. Ветеранов поздравили молодые воины, а потом всех угощал из походной кухни молоденький, стриженный под ежик повар в белом фартуке, надетом на выходную форму, и с огромной поварешкой. Анджею казалось, что такую вкусную кашу он еще никогда не ел. Одна старая женщина в белом платке, с медалями на старом пиджаке подошла к полевой кухне и стала трогать ее руками. Потом заплакала. В войну она работала в госпитале. На ее глазах фашистский снаряд попал прямо в такую кухню. И про эту женщину Анджей обязательно расскажет.

И еще о том, как ходили с Геной купаться. Они лежали на берегу канала в сухой, ломкой, как из гербария, траве, она пахла чем-то сладким, и говорили о доме, о себе, о будущем. Гена рассказывал, как он поступал в театральный, но не прошел по конкурсу. На экзамене нужно было показать пантомиму. Гена вскочил и стал изображать в лицах профессоров, студентов и рыбака, у которого зацепился за что-то крючок, и пришлось лезть в холодную воду. Анджей хохотал и катался по горячей траве, и из нее во все стороны прыскали кузнечики. А потом Гена читал ему свои стихи, и они лежали руки за голову и смотрели на облака.

И про новоселов. В городе строят дома один за другим, и новоселов с каждым днем все больше и больше. Целый город новоселов. Анджей расскажет, как однажды он стоял и смотрел, как вселяются в дом, который он построил. Анджей сделал вид, будто он тут вовсе и ни при чем, будто просто так прогуливается. Он смотрел на веселую суету переезда и вспоминал, как вселились в новую квартиру они с Нарциссой. Первое время у них ничего не было, кроме огромных старых часов, все, что досталось им в наследство. Часы били когда им заблагорассудится и были единственной мебелью в пустой квартире.

И конечно, про именинный пирог пусть и подгоревший, но от всей души.

И о том, что за свои тридцать лет он уже успел что-то сделать в жизни.

Когда-нибудь, лет через пять или десять, он снова приедет сюда. Обязательно приедет. Анджей решил это твердо. Он будет бродить по этим улицам, посидит на берегу каналов, обнявших город, будет всматриваться в лица людей. И обязательно зайдет в свой дом. Поднимется по лестнице. Позвонит в какую-нибудь квартиру. Кто они, живущие в построенном его руками доме? Счастливы ли? Чего хотят в жизни?

— Здравствуйте,— скажет он.— Меня зовут Анджей Казьмечак. Я строил этот город.



ПОМНИТЕ ХИРОСИМУ!

Подборка материалов, приуроченная к 40-летию атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, мы надеемся, даст молодому читателю представление о разыгравшейся четыре десятилетия назад трагедии, поможет понять ее причины, а также установить виновника несчастий и горя тысяч ни в чем не повинных людей — американский империализм, который, несмотря на уроки прошлого, снова пытается ввергнуть мир в атомную катастрофу, на этот раз из космоса.



ПЕРВЫЙ ШАГ К «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»

Эллсворд Т. КАРРИНГТОН

Из кабины бомбардировщика В-29, с огромной высоты японский пейзаж похож на любой другой. Солнце било прямо в кабину, и я задремал. И какой-то насмешкой кажется теперь, что во время полета, которому суждено было войти в историю, я просто уснул.

Мне было двадцать лет, когда я вторым пилотом в составе эскадрильи из шести самолетов летел бомбить Хиросиму. Наш экипаж должен был вести метеорологические наблюдения над Кокурой — городом, избранным в качестве второй цели для бомбардировки. Он находился примерно в девяноста милях к юго-западу от Хиросимы. Всю операцию мы отрабатывали около года; помню дальние тренировочные полеты над пустынями Невады и Юты, помню рейды к Бермудским островам... Позднее на острове Тинян, входящем в группу Марианских островов, мы играли в теннис и покер, плавали и совершали тренировочные полеты на большой высоте с одной обыкновенной бомбой на борту.

С самого начала нам было строго приказано не говорить за пределами части о том, чем мы занимаемся. Меня этот приказ не тяготил — мне практически нечего было сказать. За все эти месяцы никто мне и слова не сказал об атомной бомбе. Я догадывался, что мы сбросим некую сверхбомбу, но не имел ни малейшего представления о ее мощности и о тех причинах политического характера, которые привели к решению об атомной бомбардировке.

Даже накануне вылета нам ничего не сказали о новом оружии. Но детальность последней инструкции свидетельствовала, что нам предстоит не совсем обычный полет.

Наш самолет оказался над Кокурой около 7 часов 05 минут утра, через сорок минут мы должны были передать сводку погоды. Чтобы не кружить над уже проснувшимся городом и убить время, мы взяли курс на море. Я дремал в залитой солнцем кабине, наш пилот, Джим Вильсон, разбудил меня и сказал, что эдак, мол, я просплю нечто «очень важное». Но ничего не случилось.

В назначенное инструкцией время мы вернулись к Кокуре и послали шифровку команде самолета «Энола Гэй», который должен был сбросить бомбу, что он может провести визуальную бомбардировку — небо чистое. В девяноста милях к северо-востоку другой американский самолет, «Стрейт Флеш», послал «Эноле Гэй» подобное же сообщение.

Все. Наше задание было выполнено, мы развернулись и взяли курс на базу. После получасового полета, когда мы покрыли уже 150 миль, в нашем высокочастотном приемнике возник тонкий, пронзительный сигнал. Это означало, что через пятнадцать секунд бомба упадет на город. Я повернулся к Вильсону.

«Ну, что скажешь! — спросил я, пораженный точностью пилота «Энолы Гэй».— Тиббетс опаздывает меньше чем на двадцать секунд». Я почувствовал гордость и ощутил прилив радости. С такого расстояния, когда Япония осталась далеко позади, мы не видели вспышки, не слышали взрыва, и только замолчавшее в 8 часов 15 минут радио свидетельствовало о том, что над Хиросимой что-то произошло.

Если до рейда на Хиросиму и 9 августа на Нагасаки никто и словом не обмолвился о бомбе, то после этих двух взрывов, казалось, все только о ней и говорили. Пользуясь слухами да редкими газетами, которые попадали на нашу базу, я скоро узнал о разработке бомбы и об испытательном взрыве 16 июля 1945 года в Аламогордо (штат Нью-Мексико). Узнал, что ученые с ужасом увидели, как во время этих испытаний испарилась стальная башня. Эти сообщения посеяли во мне первые зерна сомнения. Почему мы избрали мирный город в качестве цели для взрыва первой атомной бомбы! Разве не могли испарившиеся безлюдные объекты заставить Японию капитулировать! Эти вопросы мучили меня с течением лет все сильнее и сильнее. И чем больше узнавал я, тем больше сомнений и мучений испытывал.

И тогда все, что я слышал и видел во время года подготовки, предстало передо мной в новом свете. Когда моя эскадрилья впервые расквартировалась на Тихом океане, для всего летного персонала читали лекции. Однажды некий майор из разведки инструктировал нас о войне в воздухе против Японии. Первые бомбардировки, говорил он, произведенные с большой высоты, давали посредственный результат из-за сильных ветров. Поэтому в марте 1945 года была принята новая стратегия: рейды проводились по ночам на небольшой высоте, с использованием напалмовых бомб. Вопреки ожиданиям это принесло заметные результаты. Тысячи японцев сгорели заживо. Не спасали даже подземные бомбоубежища. Жар бушующего пламени заставлял бомбардировщики подниматься на три-четыре тысячи футов над землей.

В тот же период был уничтожен практически весь японский торговый флот, и экономика страны пришла в упадок. Когда, узнав об истинной цели нашего налета на Хиросиму и Нагасаки, я вспомнил, что тогда говорил майор, мои сомнения усугубились следующим соображением: почему мы бомбили страну, уже разрушенную оружием обычного типа!

Теперь я не верю заверениям Трумэна, будто Хиросима и Нагасаки подверглись бомбардировке во имя спасения Америки. Япония была уже на пороге капитуляции. Трумэн, одержимый идеей военного превосходства США, смотрел дальше, он демонстрировал американскую мощь Советскому Союзу. Трумэн хотел занять самую сильную позицию в наступившем уже веке атомной дипломатии. Ужасные развалины Хиросимы и Нагасаки должны были служить предостережением не столько для Японии, сколько для России. Эти руины должны были стать козырем в руках Трумэна; мой полет на рассвете в августе 1945 года оказался не последним аккордом в войне на Тихом океане, а первым шагом к «холодной войне».

Сокращенный перевод с английского С. ОЛЮНИНА

Эллсворд Т. Каррингтон, бывший летчик ВВС США, принимал участие в военной операции по осуществлению атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.



«ТАМ НЕ БУДЕТ НИЧЕГО ОПАСНОГО»

Стадс ТЕРКЕЛ,
американский публицист

Малберри, штат Теннесси. Старый двухэтажный дом. Когда входишь во двор, начинает лаять собака. Из глубины дома раздается голос. И тут

Из книги-интервью с ветеранами второй мировой войны.

же появляется большое симпатичное лицо. Сразу замечаешь, что у хозяина нет ног. Внимание привлекает его правая рука, лежащая на рычаге кресла-каталки. Эта рука, которая по крайней мере впятеро больше нормальной человеческой руки, вся в складках и морщинах, мертвенно-серого цвета, похожа на хобот слона.

Он президент Национальной ассоциации «атомных ветеранов». Их примерно 15 тысяч. Все они принимали участие в испытаниях ядерного оружия. В операции «Перекресток» участвовало 42 тысячи человек. Из них 27 тысяч уже умерло.

У него на удивление приятный мягкий голос.

— Я был фермером. Родился и вырос на востоке Теннесси, в Камберленде. Мой отец больше сорока лет проработал в угольных копях.

Семнадцатилетним сосунком я пошел во флот, в июле 1945-го. Да, самые лучшие мои деньки связаны со службой во флоте. Столько воды утекло, а кажется, все это было вчера.

В сентябре, когда война с Японией закончилась, мы были в Тихом океане. Мы вернулись в Пирл-Харбор, а потом в Штаты. И тут мы получили приказ возвращаться, идти участвовать в испытаниях.

В то время все только и говорили о больших бомбах, которые в августе сбросили на Японию. Правда, никто ничего толком не знал об этих бомбах-гигантах. Мы решили, что нас хотят подключить к дальнейшим испытаниям этих новых бомб.

Кодовое название операции было «Перекресток». Проводилась она на Маршалловых островах и на атолле Бикини. Вот и все, что нам было известно. Мы ни о чем не подозревали. Ни я, ни другие ребята на корабле. Мы шли на эсминце «Аллен М. Самнер». Нам сказали, что там не будет ничего опасного. Наоборот, только интересно и очень здорово.

— Кто это сказал?

— Люди из службы безопасности на корабле. Ах да, еще вспомнил. Когда мы прибыли туда, накануне испытания бомбы, мы должны были подписать то, что они называли присягой верности. Мы обязались никогда ни при каких обстоятельствах не болтать ни о взрыве бомбы, ни о том, что мы увидим на острове. Тому, кто нарушит присягу, грозила тюрьма и огромный штраф. Все это, конечно, до смерти напугало таких юнцов, как я.

Я был уже год во флоте, когда 1 июля 1946 года испытываемую бомбу сбросили с самолета. Мы тогда стояли у берега, занимались своими делами, а ранним утром того дня подошли к нашему флагману «Маунт Маккинли». Там собралось все высокое начальство. Еще там было полно ученых. Когда бомба взорвалась, мы кружили вокруг «Маунт Маккинли».

«Маунт Маккинли» был в девяти милях от места взрыва. А мы — в трех милях от «Маунт Маккинли». Значит, от места взрыва мы находились либо в шести, либо в двенадцати милях.

Мы стояли на палубе в шортах. Я был в футболке — ну, вот как сейчас. Еще на мне был морской берет и теннисные тапочки. А начальство на «Маунт Маккинли» — те сидели в укрытии, и на них было тяжелое обмундирование, которое они не снимали. То есть защитная одежда. Нам сказали, что эта бомба будет огромная, и все мы, деревенские парнишки, стояли разинув рты, все смотрели, как эта чудовищная бомба будет падать.

И вдруг мы увидели гигантский огненный шар, который возник где-то внизу и начал подниматься вверх. Я даже не могу описать этот огненный шар. Мы почувствовали жар и взрывную волну. Отплыли немного подальше.

Через десять часов мы вошли в эпицентр взрыва. Мимо нас проплывали корабли-мишени. Краска на них вся выгорела. Стволы пушек были переломлены пополам, сталь на них оплавилась. Крейсер «Индепенденс» горел. Всего там было 75 кораблей-мишеней.

Я оказался на палубе, когда вызывали добровольцев тушить пожар на «Индепенденсе». Мы отправились на крейсер и тушили огонь час в трюме и два часа на палубе. Было нас там 60 или 70 человек.

— Вас не предупредили, что находиться там опасно?

— Да нет же! Им нужно было поскорее потушить огонь, чтобы проверить подопытных животных, которые были на корабле. Я тушил пожар в течение трех часов. Потом мы вернулись на базу, и нас пропустили через, как они это называли, контрольный пункт. Там были ученые со счетчиком Гейгера, они проверяли нас всех подряд, какую дозу радиации мы получили.

— Эти ученые вам что-нибудь объяснили?

— Нет. Да ведь мы и не знали, что они там проверяли. Нам так ничего и не сказали. Нам разрешали всюду ходить, купаться... Мы пили воду, которую получали на бортовом дистилляторе. Стирали в ней свою одежду. Нас ни в чем не ограничивали. Нам так ничего и не сказали.

А на Бикини я вызвался помочь им снять фотокамеры с вышек. Вышки были стальные. Они раскалились на солнце. Я не знал, что в таких условиях радиация долго остается на стали. Да, я ничего не знал. Кстати сказать, слово «радиация» ни разу не было произнесено за все время, что мы там были.

25 июля нам сказали, что готовится второе испытание. Бомбу заложили под водой на глубине 90 футов. Мы подошли к «Маунт Маккинли» и легли в дрейф. Мы видели взрыв. Кодовое название бомбы было «Пекарь». Она была еще мощнее. Когда она взорвалась, вокруг образовалось что-то вроде вакуума. Такое было впечатление, что огромный гриб вырастает прямо из океана. Он взметнулся в воздух вместе с песком, водой и всякими обломками. И все это образовало гигантское облако над нами. Мы попали в зону осадков, и брызги летели на палубу. Потом нам пришлось отмываться.

На корабль к нам опять привезли ученых со счетчиками Гейгера. И мы по-прежнему не знали, что они делают. Через десять часов мы вошли в эпицентр. На этот раз они что-то заволновались. Дня через три моряки с базы пошли купаться, но их схватили и посадили на гауптвахту. А для нас не было никаких ограничений. Мы ни о чем не подозревали. Нам и в голову не могло прийти ничего такого...

А в конце августа я обнаружил у себя несколько красных пятен, похожих на ожоги размером в долларовую монету. Их было пять или шесть на бедрах и ступнях. Я пошел в медпункт. Мне наложили пластырь на каждый ожог, завязали сверху бинтом и уложили в постель. Пятна прошли. А примерно через неделю обе ноги начали опухать. Меня опять уложили в постель. И все прошло. Но время от времени, пока я был на корабле, ноги распухали, и я не мог носить ботинки. Мы вернулись в Пирл-Харбор в конце ноября. Меня положили в госпиталь. Там провели исследования и сказали, что у меня больные почки. Меня отправили в Калифорнию. Это было уже в 1947-м. Я уволился по состоянию здоровья.

Меня отправили домой и сказали, что, если опухоли снова возникнут, я должен лечь в кровать и держать ноги на весу — тогда опухоли пройдут. Но каждый раз эти опухоли становились все больше и больше. И так продолжалось до тех пор, пока они не стали такими огромными, что меня положили в военный госпиталь Управления по делам ветеранов войны. Это было в 1976-м.

В марте 1977-го мне ампутировали левую ногу, потому что в нескольких местах возникли открытые язвы и они страшно болели. Спустя месяц после выписки меня снова положили в госпиталь. На этот раз с опухолью правой ноги. В августе 1977-го вся моя правая нога превратилась в сплошной гнойник от колена до лодыжки. Ее надо было ампутировать. Как только я вышел из госпиталя, у меня начала опухать левая рука.

Вот уже два года они стараются уговорить меня лечь на ампутацию левой руки. Последние шесть-семь месяцев я чувствую себя отвратительно. Вернувшись из Вашингтона в марте, я пытался попасть к врачу в госпиталь для ветеранов войны. Меня туда даже не впустили и не разрешили увидеться с врачом.

Тогда я лег в частный госпиталь. После того как меня там прооперировали — дважды в течение месяца, у меня обнаружили рак толстой кишки и печени. Это уже неизлечимо. Тем временем я продолжал тяжбу с Управлением по

делам ветеранов на предмет получения пенсии по инвалидности за травму на службе. Мне уже отказывали шесть раз. Они отвечали мне, что да, мол, я был облучен там, но не в такой степени, чтобы считать эту дозу радиации причиной моих болезней. Один из тамошних врачей сказал, что получить такую дозу радиации, после которой начались бы все эти мучения, попросту невозможно. А три врача из частного госпиталя сделали заключение, что в общей сложности я получил тогда в сотню раз большую дозу, чем считается допустимым. А врач управления сказал, что опухоли, которые возникли на корабле, не имеют никакой связи с тем, что у меня сейчас.

Я на них зла не держу. Я их прощаю. Но я не могу понять, как же они проморгали у меня рак. Рак ведь не возникает в организме за одну ночь. Я им здорово верил, этим врачам из ветеранского госпиталя. Но там они с тобой обращаются так, словно ты или алкаш, или наркоман. Я-то вообще не пью. За последние пятнадцать лет я не взял в рот ни капли. Если бы они тогда обнаружили у меня рак, может быть, это мне бы прибавило несколько лишних деньков жизни на нашей матушке-земле...

Нет, я не озлобился. Дело не в этом. А в том, что Управление по делам ветеранов войны обещало всем ветеранам, что им будет оказана необходимая помощь, если они заболеют или станут в чем-то нуждаться. Все мы, жертвы ядерных испытаний, хотим только одного, чтобы нам улучшили медицинское обслуживание, чтобы было больше справедливости по отношению к нам.

Я получаю, как они это называют, пенсию по инвалидности за травму вне службы, пять долларов в месяц...

— *Пять долларов в месяц?..*

— Это потому, что моя жена работает.

— *Значит, потеря обеих ног — это травма, полученная вами не на службе?*

Так точно. А теперь они хотят ампутировать мне левую руку, потому что она уже распухала так, что была раз в пять больше, чем сейчас. Она была огромная, чудовищная и выглядела как-то омерзительно, нечеловечески. Теперь я постоянно ее осматриваю: боюсь, как бы не началась гангрена. Я быстро теряю в весе. За последнее время потерял 80 фунтов. Когда-то я был здоровый, крепкий парень — грудь колесом. Шести футов росту, весил 225 фунтов. А теперь я вешу 123.

Когда меня отказались положить в специализированный центр лучевой болезни в Бетесде, об этом узнали японцы. Я получил письмо от одного японского врача, который написал, что, если мне удастся приехать к ним на свои средства, они обеспечат мне лучшую врачебную помощь и вообще сделают все, на что они способны. Здешние люди организовали кампанию по сбору средств под лозунгом «Мы хотим послать Джона Смизермена в Японию». Из соседних округов тоже присылали пожертвования.

28 июля 1982-го я вылетел в Сан-Франциско. Там меня встретила женщина-врач из городского центра по исследованию лучевой болезни. В мою пользу собрали столько денег, что их хватило на то, чтобы послать ее вместе со мной в Японию для изучения их метода лечения. Я пробыл в Японии тридцать один день, и прошел... да, целых двадцать два курса разных процедур.

Меня там называли хибакиса. В Японии хибакиса называют тех, кто выжил после атомной бомбардировки. За то время, что я там пробыл, я видел много хибакиса. Они лежали в кроватях особой конструкции. Некоторые страдали тем же, чем и я, у других были страшные ожоги, третьи потеряли зрение. У некоторых отсутствовала половина туловища, но в них еще теплилась какая-то жизнь.

Хибакиса были очень добры ко мне. Те, которые могли вставать, подходили ко мне. Те, которые могли только сидеть, садились в постелях. А те, которые могли лишь поднять руку и помахать ею, поднимали и приветствовали меня. Другие просто лежали и смотрели. Это все потрясло меня до глубины души. И я даже ощутил радость, что могу быть вместе с ними.

Когда я собрался уезжать из Японии, их врачи сказали, что было бы позором, если бы мне на родине не дали возможности продолжать начатое ими лечение. Дело в том, что если это лечение прервать на шесть месяцев, то все, что со мной делали в Японии, пошло бы насмарку. Вернувшись сюда, я несколько раз пытался лечь в госпиталь для продолжения лечения. Но правительство отказало мне, потому что, если бы меня положили и лечили здесь, в Штатах, от лучевой болезни, то это бы означало, что я выиграл, а они признали свою ответственность за все случившееся.

Один господин по имени Тафт, выступая в конгрессе по поводу законопроекта о помощи ветеранам вьетнамской войны, высказался против поправки, по которой медицинская помощь должна была бы предоставляться и «атомным ветеранам». Он заявил, что эта поправка явилась бы ударом по нашей военной политике, по военным операциям за рубежом. Если бы люди узнали о существовании такой поправки, они бы живо потребовали убрать все наши ядерные ракеты.

Я не держу зла на правительство. Я ведь тогда вызвался добровольцем, потому что хотел показать себя хорошим моряком. Но все-таки я их осуждаю, потому что они обязаны были предупредить нас об опасности...

Наши раны проявились только тридцать-сорок лет спустя. Теперь, конечно, уже невозможно вернуть прошлое и сказать: «Эй, дядя Сэм, ты сыграл со мной злую шутку — взял да и подставил меня под радиацию. Она засела у меня в теле и мучила меня все эти годы».

Я был зеленым юнцом из горной деревни. Когда дядя Сэм приказывал мне что-то сделать, я выполнял его приказ. Я подписал присягу о неразглашении тайны, да, сэр. Мы никогда об этом никому не говорили. Когда я вернулся, я даже жене своей ничего не рассказывал. И матери я тоже ничего не рассказывал. Но когда начались мои мучения, я сказал себе: что они могут сделать мне такого, чего еще не сделали! И я рассказал обо всем. Я думаю, что дядя Сэм обязан помочь нам, ветеранам.

Если бы мой пес, который лаял на вас, когда вы вошли во двор, укусил вас, я бы почувствовал себя обязанным лечить вас за свой счет. Но я, правда, знал, что пес вас не тронет. А что делает дядя Сэм? Он держит взаперти свое чудище, потом его выпускает, и оно причиняет людям вред. Почему же он не чувствует своей вины? Я бы почувствовал свою вину, а они не чувствуют...

— *А они знали, что их пес кусается?*

— Еще бы! Тут вопроса нет. Первую бомбу они испытали в Нью-Мексико в 1945-м, 16 июля. Это была бомба такой силищи, что они сначала и понять не могли, что они там такое взорвали. И вот спустя месяц они взорвали еще две бомбы. От этих бомб, которые уничтожили Хиросиму и Нагасаки, пострадали не военные объекты, а только старики, женщины и дети. Потом, семьвосемь месяцев спустя, ничего толком не проверив, они взорвали еще две бомбы. У них не было даже надлежащих средств защиты от бета- и альфалучей, которыми я засветился. Эти испытания, конечно, не были нужны никому из всех тех людей, которые были в них задействованы. Я лично считаю, что нас использовали просто как подопытных кроликов...

Я рад, что встретил свою жену и что она стала моим другом. Я рад, что живу в этом старом доме, он был построен еще в 1820 году. Рад, что двери здесь широкие и я могу свободно переезжать из комнаты в комнату в своем кресле. И я ужасно рад, что могу видеть, как моя жена входит в дом. И я рад, что могу каждое утро просыпаться, и улыбаться ей, и получать в ответ ее улыбку. Но когда я умру, что станет с ней тогда! Вот потому-то каждой клеточкой своего тела и до самого последнего вздоха я буду бороться с несчастьем, которое они мне принесли — мне и другим ветеранам, чьи страдания еще больше моих. И если дядя Сэм не будет оказывать хоть какую-то поддержку и помощь моей жене и всем другим женам ветеранов, пока мы еще не покинули матушку-землю, я думаю, он совершит такой грех, что ему придется держать за него ответ перед самим всевышним...

Джон Смизермен умер 11 сентября 1983 года.

Перевел с английского
О. АЛЯКРИНСКИЙ

ЦЕНА НЕВЕДЕНИЯ СТАЛА НЕПОМЕРНОЙ

Питер УАЙДЕН,
американский журналист

Вскоре после атомной бомбардировки пропагандист, выступавший под псевдонимом «Роза Токио» в передачах японского радио на английском языке, объявил, что радиация вызывает множество смертных случаев у тех, кто пережил взрыв атомной бомбы, разрушившей значительную часть Хиросимы.

Это сообщение было «довольно неожиданным» для д-ра Нормана Рамсея, личного представителя Роберта Оппенгеймера, директора лаборатории, где была изготовлена первая атомная бомба. Бомба, очевидно, имела побочное действие, какого никто не ожидал. И когда Рамсей передал сообщения о случаях смерти и болезни от радиации, военные боссы сбросили эту информацию со счетов как «обман или пропаганду», так как она «не согласовывалась со всем накопленным опытом».

В последующие месяцы и годы Рамсей, другие ученые, должностные лица и в конце концов даже население узнали довольно много о смертоносных долгосрочных радиационных эффектах атомной бомбы. И постепенно мы все стали понимать, как мало знали политические деятели и даже ученые об этом оружии, когда принимались решения о бомбардировке Японии.

Теперь, 40 лет спустя, мы не можем переделать историю, но можем понять, что предложение президента Рейгана о так называемых «звездных войнах», предусматривающее создание супероружия и размещение его в космосе, снова порождает возможность непредвиденных, но потенциально катастрофических последствий.

Связь между решением сбросить первую атомную бомбу и предложением Рейгана перенести гонку вооружений в космос впервые была отмечена в 1983 году Эдвардом Теллером, крестным отцом идеи «звездных войн» и отцом водородной бомбы.

В статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» вскоре после того, как Рейган выступил со своим предложением, воодушевленный Теллер писал, что ему это напомнило о «другом... поворотном моменте в истории» — о том дне в 1939 году, когда был открыт зеленый свет «Проекту Манхэттэн», предусматривавшему создание атомной бомбы.

Эта параллель уместна, но не совсем в той форме, в какой видит ее Теллер. Сейчас, как и тогда, политические деятели и такие ученые, как Теллер, не хотят начать с того, чтобы попытаться представить себе, к каким последствиям приведут «звездные войны». С их стороны наблюдается стремление нагнетать войну — вторгнуться в небеса, не заботясь о том, что же будет дальше. Сегодня Теллер и его единоверцы не знают, какие новые трагедии их войны в небесах могут обрушить на цивилизацию. Тогда, в 1939 году, у ученых тоже не было никакого представления о том, что они изобрели войну принципиально новую: войну с помощью ядерной радиации, которая способна убивать, калечить и отравлять все живое в массовом масштабе и очень долгое время.

Но одно обстоятельство отличает сегодняшнюю ситуацию от тогдашней: цена обсуждения подобных планов без достаточных сведений стала непомерной. До Хиросимы мы не могли уничтожить себя, после Хиросимы мы можем это сделать. Ставки стали иными. Мы больше не будем обречены повторять ошибки прошлого, потому что, по всей вероятности, нас просто не будет, некому будет их повторять.

В те годы директор лаборатории Роберт Оппенгеймер, решая эту «технически привлекательную проблему» — создание ядерного оружия,— считал, что бомба будет представлять собой всего лишь еще одно обычное оружие, за исключением того, что она произведет «очень сильный взрыв». Работавшие в лаборатории ученые не придали значения поступавшим сообщениям о радиации, потому что очень мало знали о ее действии на живые организмы. Точнее, врачи с 90-х годов прошлого века знали, что слишком большая доза радиации наносит людям ущерб. Но что такое слишком большая! Сколько пройдет времени, прежде чем этот ущерб проявится или вызовет смерть! Эти вопросы до сих пор до конца не изучены медиками, в том числе и врачами в «Госпитале атомного взрыва» в Хиросиме, где я недавно побывал и где до сих пор, 40 лет спустя после облучения, тогда сброшенного со счетов как «обман и пропаганда», лежат и умирают его жертвы.

Если бы политические деятели представляли всю глубину своего неведения, они, может быть, серьезнее отнеслись бы к предложению продемонстрировать действие атомной бомбы японским военным или какой-нибудь международной группе, прежде чем применить ее в качестве боевого оружия. Тогда, возможно, сотни тысяч человек можно было бы спасти и избавить от мук, которые им пришлось пережить в результате этого непроверенного эксперимента на людях.

Однако еще важнее с точки зрения сегодняшнего момента понимание того факта, что политические деятели и не считали нужным поинтересоваться, прежде чем пустить в ход, какое действие окажет новое оружие. Только однажды на совещании в Пентагоне 31 мая 1945 года под председательством тогдашнего военного министра Стимсона, длившемся весь день, идея демонстрации действия атомной бомбы обсуждалась минут десять в таком духе, как в обеденный перерыв обсуждаются учрежденческие сплетни.

Как могут разумные руководители принимать такие важнейшие решения, будучи абсолютно неосведомленными об их последствиях!

Существуют разные ответы на этот сложный вопрос. Одна из возможных причин — предвзятое умонастроение, которое делает политиков слепыми к альтернативам. Рузвельта убедили в целесообразности создания атомной бомбы, потому что нацисты строили ее, и считалось, что они впереди. Только к концу войны при выполнении одного разведывательного задания обнаружилось, что германские ученые застряли на мертвой точке еще в самой зачаточной стадии атомных исследований. Мы включились в ядерное «соперничество», которого не было.

Это объяснение можно дополнить другим. Японские милитаристы чудовищно обращались с американскими военнопленными. Американцы были одержимы ненавистью к ним. И при этих обстоятельствах было бы нелепой иллюзией рассчитывать, что такой политик, как Трумэн, откажется от возможности навлечь разрушения на этих исконных соперников на Тихом океане.

Вдобавок ко всему, создатели атомной бомбы и люди, принимавшие решения, израсходовав два миллиарда доинфляционных долларов и выйдя победителями из бесчисленного множества технических кризисов, были охвачены сильным стремлением сбросить бомбу — просто чтобы оправдать вложенные труд и деньги.

Решение было принято в полном неведении, но даже когда творцам политики стали известны последствия взрывов в Хиросиме и Нагасаки, они попытались их скрыть. Оккупационные власти США даже не разрешили японским медицинским журналам писать о лучевой болезни, и о долгодействующих последствиях (число случаев лейкемии в 50 раз превысило обычную норму) стало широко известно только в 50-е годы. Даже сегодня некоторые американские «специалисты» упорно не желают видеть факты, утверждая, что в Хиросиме и Нагасаки от радиации пострадали «две тысячи человек»[1].

[1] *В Хиросиме погибло более 140 тысяч человек, в Нагасаки — около 75 тысяч человек.— Прим. ред.*

Сокрытие информации о радиации продолжалось и после войны. Одной из жертв этой политики стал д-р Стафффорд Уоррен, начальник медицинской службы «Проекта Манхэттэн» и первых послевоенных атомных испытаний на Тихом океане. 18 января 1947 года этот врач изложил свои ужасающие выводы в строго засекреченном меморандуме, который он представил своему начальнику. Он вспоминает, что оценки допустимой дозы радиации, сделанные в военное время, представляли собой не что иное, как «догадки, которые в большой и опасной степени расходились с истиной». Когда этот врач, вернувшись к гражданской жизни, стал профессором медицинского факультета, он решил проинформировать общественность о катастрофических последствиях радиации.

Ему было категорически запрещено обнародовать свою речь и даже зачитать ее студентам. О трудах Уоррена стало известно только в 1983 году, через два года после его смерти, когда его бумаги были обнаружены в библиотеке Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где он был деканом медицинского факультета.

Вся эта паутина внутреннего контроля, манипуляций и т. п. ведет к тому, что знакомство общественности с истоками нынешней ядерной угрозы колеблется между почти полным и полным неведением. Как случилось, что мы докатились до сегодняшнего тупика! Объяснение этому носит в основном риторический характер, а риторика за последние сорок лет не изменилась. Что касается процесса принятия решений в 80-х годах, то он по-прежнему остается во власти чар пророка 1939 года. В 1982 году Эдвард Теллер заверил широкие массы читателей журнала «Ридерс дайджест», что опасности атомной радиации в значительной степени «мифы» и что через три дня после того, как на Хиросиму упала атомная бомба, по улицам уже ходили трамваи (на самом деле понадобилось три месяца, прежде чем стал работать какой-нибудь транспорт). Это извращение действительности создает грубо искаженную картину разрушений, вызванных хиросимской бомбой. А голос Теллера остается влиятельным. Рейган многие годы консультируется с ним. И советник президента по научным вопросам Джордж Киуорт — восторженный сторонник оружия, базирующегося в космосе, и ученик Теллера. Сам отец водородной бомбы рекомендовал Киуорта на этот пост в Белом доме.

У нас пока еще есть время. Конгресс, приступая к рассмотрению ассигнований на «звездные войны», может провести слушания по поводу решения о бомбардировке Хиросимы. Пусть ученые, создавшие атомную бомбу, выскажут свои суждения, основываясь на фактах. Их воспоминания могут раскрыть нам глаза на будущее.

Кем он был прежде всего? Летчиком, пионером авиации, прокладывавшим новые пути в небе? Уже этого хватило бы на целую жизнь. Изобретателем, чьи технические решения до сих пор удивляют инженеров? И этого хватило бы на одну судьбу. Писателем, автором «Ночного полета», «Земли людей», «Цитадели», «Маленького принца»? Немного есть в мире писателей, создавших сказку, на которой растут поколения. Он погиб, защищая землю людей от нечеловеческого, от фашизма — и этого достаточно, чтобы войти в историю.

Книги об Антуане де Сент-Экзюпери издают и переиздают во всем мире. Но, наверное, лучше всего о нем говорят его письма. И хотя круг его знакомых был чрезвычайно разнообразен, адресаты писем известны. Кроме тех, а их большинство, что и по сей день выходят с пометкой: «письмо к Н.».

Этот Неизвестный — друг Экзюпери, последней волей писателя (несколько строчек на оборотной стороне летного листка, написанные накануне гибели) названный его духовной наследницей. Ей был передан чемоданчик с рукописями, с которыми никогда не расставался Экзюпери.

Кто она? Это было известно только самым близким друзьям Экзюпери. Даже книга, написанная ею о писателе, лучшая по сей день, подписана псевдонимом Пьер Шеврие. Н. хранит свое инкогнито, оберегая личную жизнь писателя от пошлости любопытствующих. Но письма Экзюпери к Н.— это не просто личная переписка, в них жизнь, интерес к которой не угасает и не может угаснуть. Друзья Н. и Сент-Экса (так они его называли) убедили ее издать письма наконец полностью. Книга вышла в 1982 году, в нее вошли уже известные (и переводившиеся на русский язык) и — это не оговорка — новые письма. Потому что мысли, которые высказывал в них автор, актуальны всегда.

«Я ХОЧУ ВОЕВАТЬ ВО ИМЯ ЛЮБВИ И СВОЕЙ ВЕРЫ»



Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Тулуза, 26 октября 1939 года

Изо всех сил умоляю тебя уговорить Шамсора, чтобы меня перевели в истребительную авиацию... Я буду чувствовать себя морально больным, пока не попаду на фронт. Мне есть что сказать о том, что сейчас происходит. Но говорить я могу только как боец, а не как турист. Это единственная возможность получить право говорить. Я летаю по четыре раза в день, я в прекрасной форме, даже слишком хорошей, потому что это усугубляет положение: меня хотят оставить инструктором не только у штурманов, но и у пилотов тяжелых бомбардировщиков. И я задыхаюсь, мне плохо, и я могу лишь молчать... Сделай что-нибудь, чтобы меня перевели в эскадрилью истребителей... Я не жажду крови, но оставаться в тылу и не принять долю риска на себя мне невозможно. Нужно сражаться. Но сказать так я не имею права, пока в безопасности разгуливаю по Тулузе. Это бы прозвучало отвратительно. Дай мне такое право, послав меня на испытания, на которые я имею право. Какая интеллигентская мерзость утверждать, что тех, кто «представляет какую-то ценность», надо беречь.



Только своим участием можно приносить пользу. Те, кто «представляет ценность», если они и есть соль земли, должны соединиться с этой землей...

Тулуза, «Гранд Отель Тиволье», начало ноября 1939 года

Просить мне не стыдно. Я прошу не пост и не денег. Я прошу отправить меня на фронт, в истребительную авиацию. Эта услуга для меня жизненно важная. И даже если это сделать трудно, я все равно буду упрямо просить... Я должен принять участие в этой войне за веру. Под угрозой все, что я люблю. Когда в Провансе горят леса, всяк, кто не мерзавец, берет в руки ведро и заступ. Я хочу воевать во имя любви и своей веры. Я не могу быть в стороне. Сделай так, чтобы меня скорее отправили в эскадрилью истребителей.

Здесь я чахну в самой ужасной бесполезности...

Орконт [1], середина декабря 1939 года

Грязь. Дождь. Пустые вечера. Меланхолия сомнений. Волнение перед десятью тысячами метров [2]. Страх? Конечно. Словом, все, что положено человеку...

Я обрел то, что должен был обрести. Я стал как все. И мне холодно, как всем. И страшно, как всем. И кости ноют, как у всех. Выбор у меня тоже — не больше чем у всех...

Хочется быть совершенно неизвестным солдатом.

Орконт, декабрь 1939 года

...Если я буду в стороне, я не выдержу. Когда слой за слоем сдирают кору, в которую мы заключены, остаются царапины и бывает больно, но ты понимаешь, что это была лишь кора, потому что как только призрак побежден — десять тысяч метров становятся нипочем. Чистота всегда прячется внутри, во всякой шелухе. Нужно сдирать кору...

Орконт, конец декабря 1939 года

...Я ни стар, ни молод. Я перебираюсь из юности в старость. Я — нечто созидающееся. Я — старение. Роза — это не то, что распускается, цветет и увядает. Роза — это не последовательные состояния. Роза — это немного грустный праздник... Мне грустно от этой страшной планеты, на которой я живу. Из-за всего, чего я не умею понять. Я устал. Но усталостью вполне объяснимой...

А я-то думал до этого крещения, что десять тысяч метров — это медленная борьба с обмороком: ужасный пот на лбу и руках и это нежно-слащавое чувство — извращение смыслов.

Нет. Десять тысяч метров не так тяжелы, как шесть без кислорода. И вдруг все, чем я прежде восхищался, рухнуло. В Тулузе я восхищался майором Миши, единственным знакомым мне военным летчиком, летавшим на больших высотах. Герои меняются ежедневно. Они спускаются с высот и мало говорят о своих подвигах. Такие они, герои, суровые и малословные. Обратишься к ним, они пожмут плечами: «Малыш, тебе не понять!» Теперь я понимаю смысл их молчания. Им нечего было сказать. Мужество не в этом. Оно — в выборе. И Миши — мужественный человек. Потому что с самого начала знал, что существует определенный процент вероятности выхода из строя кислородного аппарата на десяти тысячах метрах и что это смертельно. Поэтому теперь тому, кто выбирает ремесло летчика, нужно мужество. И еще — нужно крепко решиться и отправиться на охоту за призраками. Нужно, чтобы твой капитал на счете мужества рос. И это достойно уважения. Только это. Но когда призрак рассеется, останется обычное ремесло, как любое другое: летать на десяти тысячах метрах или плести стулья... Потому что призрака больше нет. Я испытал это много раз. И когда летал ночью, и когда тонул в море, и когда умирал от жажды...

И вот смелость становится чем-то по-иному благородным, нежели смелость пьяного сержанта: она становится условием самосознания. Конечно, конечно, трагедии бывают только социальные. Лишь больной ребенок — трагедия. У кого-то другого — трагедия. У тебя самого — никогда. Десять тысяч метро́в — вперед. Самолет взорвался — и больше нет ничего. Но человека — больше не увидеть: другой человек — это безграничная земля. И дрожащая от холода девочка больнее, чем поломка обогревателя при минус 50 градусов. Я знаю, что такое холод. Я знаю, что такое жажда. Я знаю, что такое опасность, но только для другого человека.

Откуда это стремление все брать на себя? Я взял на себя десять тысяч метров. В этом — «моя война»...

Сегодня выбор не слишком обширный: или соглашаться быть рабом Гитлера, или не соглашаться и осознать, чем тебе это грозит. И сделать это молча... Я знаю, чем грозит мне этот отказ. Только мне нужно было преодолеть этот барьер, чтобы хорошенько почувствовать, от чего отказались люди, лишив себя покоя. От чего отказываюсь я.

Есть нечто, что я открываю вновь. И, может быть, это самое прекрасное на этой странной горе, где я совсем один. Прекрасное для тех, кого я люблю, и еще более прекрасное для всех людей. Старая история: когда ты сам в опасности, то становишься ответственным за всех. Хочется сказать: «Мир вашему сердцу».

Январь 1940 года

После непозволительных ошибок хочется вернуться во времени назад, к той роковой развилке, где начался неверный путь. Очень хочется, чтобы без слов. К любому несчастью добавляется ужасное понимание «непоправимого». То, что было изменяющимся, подвижным, вдруг отвердело. Пережитое — это как рухнувший с неба блуждающий валун. Его нельзя ни сдвинуть, ни уничтожить...

Передо мной стоит тот черный грузовик, вынырнувший в десяти метрах от меня при скорости 144 километра в час [3]. И мне надо было потянуть штурвал, чтобы его перепрыгнуть. У меня не было и сотой доли секунды на размышления. Должен был включиться самый надежный рефлекс. У меня не было никаких причин поступать иначе. И тогда вдруг в мою вселенную рухнул этот огромный блуждающий валун. И я уже не мог не совершить совершенное убийство. Я мог ужасно раскаиваться, но не мог вернуться всего на секунду назад, когда решил взять штурвал не от, а на себя... Я уже не мог вернуться назад по ходу событий и вновь начать с роковой

---

[1] *Врачи отклоняют рапорт Сент-Экзюпери о переводе в истребительную авиацию: возраст — ему тогда было уже 39 лет,— старые травмы, результат прежних аварий. Экзюпери идет на компромисс: его переводят в авиачасть дальней разведки, базирующуюся в деревне Орконт, в Шампани.— Здесь и далее прим. пер.*

[2] *Группа тренируется на двухмоторных истребителях «Потез-63», предназначавшихся для полетов на высоте 10 тысяч метров. На этой высоте у «потезов» часто выходили из строя система управления и пулеметы, чем объясняют значительные потери французской разведавиации в 1939—1940 годах.*

[3] *Экзюпери как автор изобретений не раз лично принимал участие в испытаниях. Здесь он пишет о едва не окончившемся гибелью писателя испытании нового маскировочного освещения взлетной полосы.*

развилки. Конечно, я выбрал верную дорогу, но я увидел другую, я увидел ее так близко. В ста случаях против одного именно по ней я должен был пойти.

...Я не боюсь смерти. Я боюсь того, что может быть непоправимым. Я испугался не того черного грузовика, который, будто людоед, вынырнул из темноты, но этого месива. И тогда, когда я покатился по полосе и вновь оказался в темноте, когда я только мельком подумал, что могла ведь слететь подвеска, мог загореться самолет, могла случиться всякая чепуха, как в меня уже вселилась другая, более страшная картина. Для вас самолет будто слегка освещали, а меня слепил прожектор, все вокруг было погружено в темноту. Когда я решил подниматься выше, у меня было ощущение, что я уже по грудь ушел в землю, что оставил за собой яму, как яйцо оставляет ямку в гнезде, яму, принявшую меня. Я не знал, что будет в этом округлом слепке моей груди. И когда эти идиоты замешкались дать мне свет, я подумал: вот, я их всех убил.

Назавтра, когда я ехал в Ла Ферте, я подумал: вот я еду по одной из тех двух дорог, почти одинаково реальных, которые разошлись в тот самый момент, когда без всяких причин, без участия разума и, наконец, против воли чувства самосохранения я выбрал то, что выбрал, потянув штурвал на себя. Я катил в Ла Ферте, но другой я, который сделал то, что, казалось, и следовало сделать, теперь катил по другой дороге, и, ужасно кусая губы, он говорил себе: «Если б только я мог снова сделать это несчастное движение, которое длится всего одну сотую секунды! Если б я мог вернуться во времени назад и выбрать другой путь... Тогда бы вместо того, чтобы переживать сейчас этот жуткий кошмар, я бы катил себе счастливый под солнцем в Ла Ферте...»

Орконт. январь 1940 года

Сегодня вечером или завтра перебираемся на новое место... Вылетаем, как только стихнет снег...

Мало быть правым, кроме этого, надо действовать...

Лаон, 27 января 1940 года

Как противно мое нынешнее существование. Этот шкаф с зеркалом, весь этот гостиничный номер, эта буржуазная жизнь. Постепенно — и только теперь — я начинаю понимать, как я любил Орконт. Насколько моя жизнь на ферме, моя ледяная комната, грязь и снег приблизили меня к самому себе. И десять тысяч метров, если говорить серьезно.

Я снова на распутье. Снова не могу собраться. Там, в Орконте, мои обещания сбывались, я начал понемногу оттаивать... Я не хотел этой цыганской жизни. Хотелось приходить к ним, лучше, когда они молчат. Хотелось приходить извне, со своей фермы или с десяти тысяч метров. И Хольвек[4], конечно, ошибся, если подумал, что я жить не могу без песнопений в клубе-столовой.

Я легко могу быть один среди толпы. Пусть даже мы идем рука об руку, для себя у меня есть моя голова и моя берлога. Но теперь у меня больше нет берлоги, больше нет неба, где расправить свои ветви. Я весь высох и не верю в себя...

По мне лучше пули, чем то иссушение, которое мне здесь грозит... Я умираю от жажды одиночества. Я чудесная машина, но мне нужно соответствующее топливо. Я немножко зову на помощь. Мне нужно объяснить себя. Объясните. Скажите, как мне не засохнуть и приносить плоды? Ау!

Меня пьянит добрая воля. Я, как апельсиновое дерево, отправлюсь на поиски своей земли. Но апельсиновое дерево не очень подвижное существо. Землю менять трудно. Только инстинкт подсказывает мне, где есть влага. А есть или нет — становится ясно на месте. Но я никогда не знал, куда следует идти. Я очень неуклюжее дерево.

Португалия[5],
1 декабря 1940 года

Гийоме умер, сегодня вечером мне кажется, что у меня больше нет друзей.

Я не жалуюсь. Я никогда не умел оплакивать мертвых, но его уход... Как долго придется с этим свыкаться, а мне уже сейчас тяжело от этого непосильного труда. На это потребуются месяцы и месяцы: так часто мне будет его недоставать.

Вот, значит, как быстро мы стареем! Из экипажей, летавших по маршруту Касабланка — Дакар, остался один я. Старые дни великой эпохи «Брега-XIV»: Колле, Рейн, Лассаль, Борегар, Мермоз, Этьен, Симон, Лекривэн, Уилл, Верней, Ригелль, Пиколу и Гийоме — все, кто побывал там, умерли, и у меня не осталось никого на всей земле, с кем поделиться воспоминаниями. Вот я и стал беззубым и одиноким стариком, пережевывающим все для одного себя...

Ни одного товарища на свете, кому сказать: «А помнишь?» Я думал, что это удел только очень-очень старых людей — потерять на своем пути всех друзей, всех.

Нужно начинать всю жизнь заново...

Лос-Анджелес,
8 сентября 1941 года

Я изменился с началом войны. Я дошел до абсолютного презрения всего, что касается меня, моего «я». Почти все время я чувствую, что странно болен совершенным безразличием. Я хочу закончить книгу[6]. Больше ничего. Я меняю себя на нее. Похоже, она сидит во мне теперь, как якорь в дне. В вечности меня спросят: «Как ты воспользовался своим дарованием и как изменил людей?» Раз я не погиб на войне, то отдаю себя в обмен на что-то другое, нежели война... Эта книга появится после моей смерти, потому что я ее никогда не кончу. Я написал семьсот страниц. Если я буду отделывать их хотя бы как обычную статью, эти семьсот страниц пустой породы, мне и то потребуется десять лет только на одну отделку. Я буду просто писать ее, пока хватит сил. И ничего другого. Сам для себя я уже больше не существую... Я уязвим, беззащитен, у меня мало времени, я хочу закончить свое дерево. Гийоме умер. Я хочу побыстрее закончить свое дерево. Хочу побыстрее стать чем-то иным. Сам себе я уже неинтересен. Мои зубы, печень — все это одряхлело и не имеет никакого значения. Я хочу стать чем-то иным, когда настанет время умирать.

Может быть, все это звучит банально. Мне безразлично, как это звучит. Может быть, я ошибаюсь на счет своей книги, может быть, она будет просто посредственной толстой книгой — мне все равно, это лучшее, чем я могу стать. Я должен сделаться лучше. Это лучше, чем быть убитым на войне.

Я очень тороплюсь. Мне некогда слушать, что говорят вокруг. Если бы лучшим, что я мог сделать теперь, было пойти и где-то умереть, я бы пошел туда и умер... Я понял благодаря войне, благодаря Гийоме, что однажды я умру. Это будет не абстрактная поэтическая смерть, не то паточное событие, о котором вздыхают с тоской. Нет, не та смерть, о которой размышляет шестнадцатилетний мальчик, «уставший от жизни». Нет. Это — смерть человека. Серьезная смерть, истекшая жизнь...

Нью-Йорк, 8 декабря 1942 года

Я знаю, почему я ненавижу нацизм. Прежде всего потому, что он унижает смысл человеческих связей...

Я отказываюсь признавать стадное состояние души, корановые упрощения, я отказываюсь выдумывать виноватых без вины. Я отказываю в чистоте помыслов святой инквизиции. Я отказываюсь признавать пустословие, из-за которого потоками льется невинная людская кровь.

Я мало ценю физическое мужество.

---

[4] *В Орконте Сент-Экзюпери навестил друг, Фернан Хольвек. Хольвек был видным физиком и совместно с Экзюпери оформил несколько патентов на изобретения, два из которых ввиду их особой важности держатся в секрете и по сей день. Фашисты арестовали Хольвека, и он погиб в газовой камере.*

[5] *В начале ноября эскадрилья перебазируется в Алжир. Будучи уверенным, что США должны вступить в войну, Экзюпери решает ехать в Америку. Он отбывает в Лиссабон, откуда изредка еще ходят корабли через Атлантику.*

[6] *Экзюпери усиленно работает над «Цитаделью», наговаривает на диктофон ленту за лентой.*

Жизнь научила меня, что настоящее мужество — сопротивляться, если мир враждебен. Я знаю, что имел мужество не сойти с пути, указанного мне моей совестью...

Неотправленное письмо

...Мой устав, которым я руководствуюсь во всех словесных турнирах, гласит, что народ — это не французская палата депутатов, не американский сенат, не фашистский рейхстаг, но суть собственной сути народа. Народ — это Трефуэль, Паскаль, Давид, Вейль [7], это притихшая мать в комнате больного дитяти, это взаимопомощь и самопожертвование бастующих рабочих, это доброта, ускользающая от понимания, но правящая идеями и длящаяся, как ствол дуба во временах года, в политических переменах. Наследство передается не в послужном списке политика...

Алжир [8], ноябрь 1943 года

...Итак, итак, мне нужно где-то в судьбе найти свое место. Я как будто в вагоне поезда, вокруг которого вращается замкнутый пейзаж. Я ни на войне, ни за своей работой, ни здоровый, ни больной, ни понятый, ни расстрелянный, ни счастливый, ни несчастный. Но безнадежный.

Очень занятно терять надежду.

Мне нужно родиться. Я пришел к выводу, что родиться заново — это лучше, чем пролежать годы распятым на доске [9]. Судьба сознания. К тому же мне очень хотелось бы продолжать летать на «лайтнингах»: судьба солдата. К тому же я хотел бы безнадежно любить. Отныне и во веки веков. Судьба сердца.

Безнадежно любить — это не безнадежно. Это значит, что встреча случится, но в бесконечности. И в дороге не померкнет Звезда. И можно отдавать, отдавать, отдавать.

...Пытаюсь работать, но пишется трудно. От этой жуткой Северной Африки загнивает сердце: я больше не могу. Как было просто летать на боевые задания на «лайтнингах». Эти идиоты американцы посчитали, что я слишком стар, и возвели вокруг меня стену...[10]

Я ожидаю всего, что угодно. В том, что касается меня, у меня нет никаких надежд. Мне чуть-чуть жалко себя. Мне жалко весь мир. Иной раз, когда я слышу, что говорят обо мне, я начинаю ненавидеть все, что говорят о других. Так могут говорить только бездушные люди, которым не досталось солнца. Я люблю в человеке возможность возвысить его. Дать ему больше, чем взять... Я люблю в человеке поднять его лицо, погруженное в течение вод. Извлечь из него новый голос или улыбку.

Запертая душа кажется мне единственно возвышенной.

Если мне хотя бы на несколько мгновений удастся сотворить чудо оживления пропащей души, вы не представляете, какое лицо вы при этом увидите. Наверное, у меня призвание открывать источники в пустыне. Я стану искать их глубоко под землей. Тому, кто сам совершенен, я не нужен...

Алжир, декабрь 1943 года

...Я не умею жить вне любви. Я всегда говорил, действовал, писал только движимый любовью... Мне не в чем упрекнуть себя, в жизни я не совершил ни одного отвратительного, злобного поступка, не был корыстен, не написал ни строчки ради денег...

Вот видите, я не понимаю жизнь.

По ночам я боюсь за все на свете. За своих близких. За свою родину. За все, что люблю...

Я говорил себе: «Несмотря на свой возраст, я сражался за свою родину, я говорил, писал против оккупантов. Я всегда ненавидел политику, и никто не может меня ни в чем упрекнуть...»

Если я худо-бедно научился писать, то лишь потому, что безжалостно замечал все свои недостатки. Ни одна фраза никогда не оставалась нетронутой. Моя старая поговорка не так уж далека от истины: я не умею писать, я умею только исправлять написанное...

«Мне грустно так, что дух захватывает...»

Я шепнул себе это совсем тихонько, будто стихи. Я просто хотел немного пожаловаться... Свернувшись в кровати калачиком, чтобы поскорее уснуть, я попробовал утешить себя, и тихо нашептывал самому себе: «Мне грустно так, что дух захватывает...»

Но такие фразы словно золотые рыбки. Оставь их без воды, и они уже ни на что не похожи. Также оставь их без сна...

И тем не менее это так: мне грустно так, что дух захватывает...

24 декабря 1943 года

Спина у меня болит все сильнее. Конечно, я не сгожусь в пехоту. Я всегда ненавидел ходить пешком. Я всегда был очень толстым...

Самолет для меня, наверное, какая-то странная компенсация.

Страх за других поражает меня всякий раз как удар ножа. То один вдруг в опасности, а у него — «всего четыре пустяшных шипа, чтобы защититься от целого мира». То другой. И я не могу одновременно плыть на все эти сигналы о помощи. Я вообще не умею плавать... Я бы мог чувствовать себя здесь в полном покое, если бы моя беда была самой большой из всех. Именно поэтому, как ни странно, меня немного поддерживает этот перелом позвонка. И я знаю, что, если мне будет очень больно, я буду совершенно спокоен...

...Я думаю, что все действительно зависит от человека. Во мне возникает иллюзия любви (или ненависти), но суть этой иллюзии лишь в том, что я наделяю этой любовью или ненавистью человека. Чем дальше я углубляюсь в жизнь, тем яснее, кажется, понимаю, что иллюзия — это не любовь, это ее предмет. Она только доро́га...

30 июля 1944 года

(последнее письмо Сент-Экзюпери)

...Перед опасностями войны я совершенно открыт и беззащитен. Совершенно чист душой. На днях меня преследовали истребители, я чудом спасся. Мне показалось это благотворным, не из спортивного или воинственного азарта, которого у меня нет, но потому, что я не признаю больше ничего, ничего, кроме качества внутренней сути человека...

Добродетель — это спасти духовное достояние Франции, став хранителем библиотеки в Карпантрасе [11]. Это летать беззащитным на самолете. Это учить детей читать. Это принять смерть простым плотником...

Полевая почта 99027

Перевел с французского
С. КОЗИЦКИЙ

---

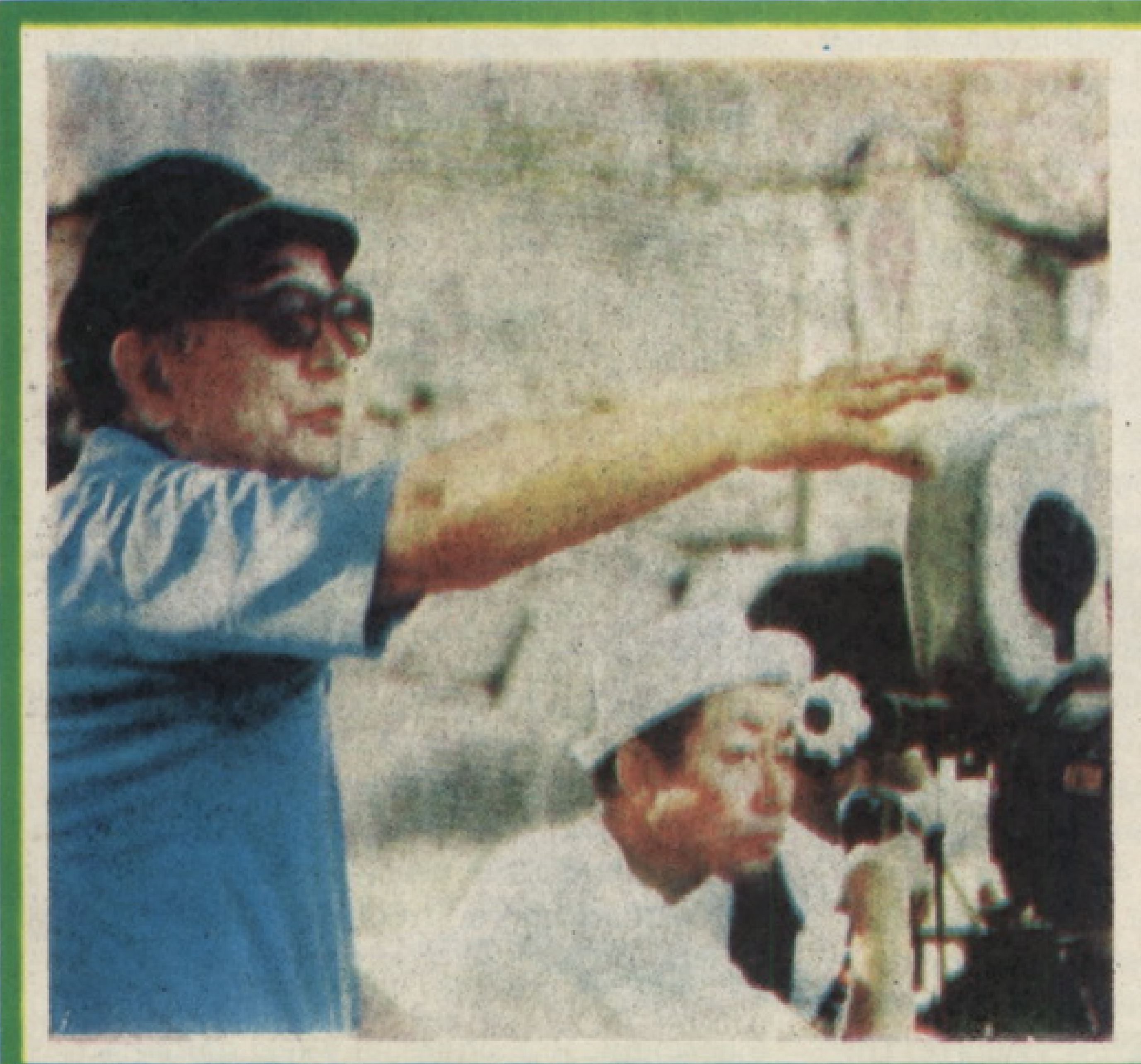
[7] *Трефуэль — химик-бактериолог, возглавлявший институт Пастера в Париже; Блез Паскаль (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик; Жак Луи Давид (1748—1825) — французский живописец; Курт Вейль (1900—1950) — немецкий композитор, автор музыки «Трехгрошовой оперы», в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, эмигрировал во Францию.*

[8] *Экзюпери получает разрешение присоединиться к одному из французских подразделений в Северной Африке.*

[9] *Здесь, в Алжире, с Экзюпери случилось несчастье: он оступился, упал, подозревал, что у него сломан позвонок, хотя пользовавший его врач утверждал, что это просто ушиб.*

[10] *Эскадрилья, где служит Экзюпери, придана американской группе фоторазведки. По уставу, к полетам на «лайтнингах Р-38» допускаются летчики не старше 30 лет. Экзюпери ожидает разрешения из штаба Эйзенхауэра.*

[11] *Маленький городок во Франции.*



ШЕКСПИР КУРОСАВЫ. Перед вами кадры из нового фильма Акиры Куросавы («Ровесник» писал об этом режиссере в № 5 за 1983 год) «Смута». Сюжет фильма повторяет шекспировского «Короля Лира», но действие перенесено в средневековую Японию. Десять лет Куросава изучал штандарты, доспехи, оборонительные сооружения той эпохи — благо время на изучение было, потому что не было средств для съемок. Самый знаменитый режиссер Японии за 12 лет снял всего два фильма: в 1975 году Советский Союз дал Куросаве возможность создать «Дерсу Узала»; в 1979 году на фильм «Двойник» он занял деньги в США, а теперь для «Смуты» — во Франции.

И все же 75-летний Куросава строит планы на будущее: «Быть стойким заставляют времена», как сказано в заключительной строфе «Короля Лира».





НУ, КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ПОГОДИ... До недавнего времени жизнь Красной Шапочки в театре и в кино протекала вполне традиционно. Но в один ненастный день английский режиссер Нейл Иордан решил взглянуть на сказку глазами взрослого, и она показалась ему какой-то очень несовременной. Так появился фильм «Компания волков»: Красная Шапочка встречает молодого охотника, который хочет ее поцеловать, она убегает, но в домике бабушки снова встречает охотника, который вновь затевает ухаживание. Тогда Красная Шапочка хватает ружье, стреляет, и, о ужас, охотник превращается в волка, а сама Красная Шапочка становится... волчицей. Вот какие страсти-мордасти приключились с бедной Красной Шапочкой по воле «дурного глаза».

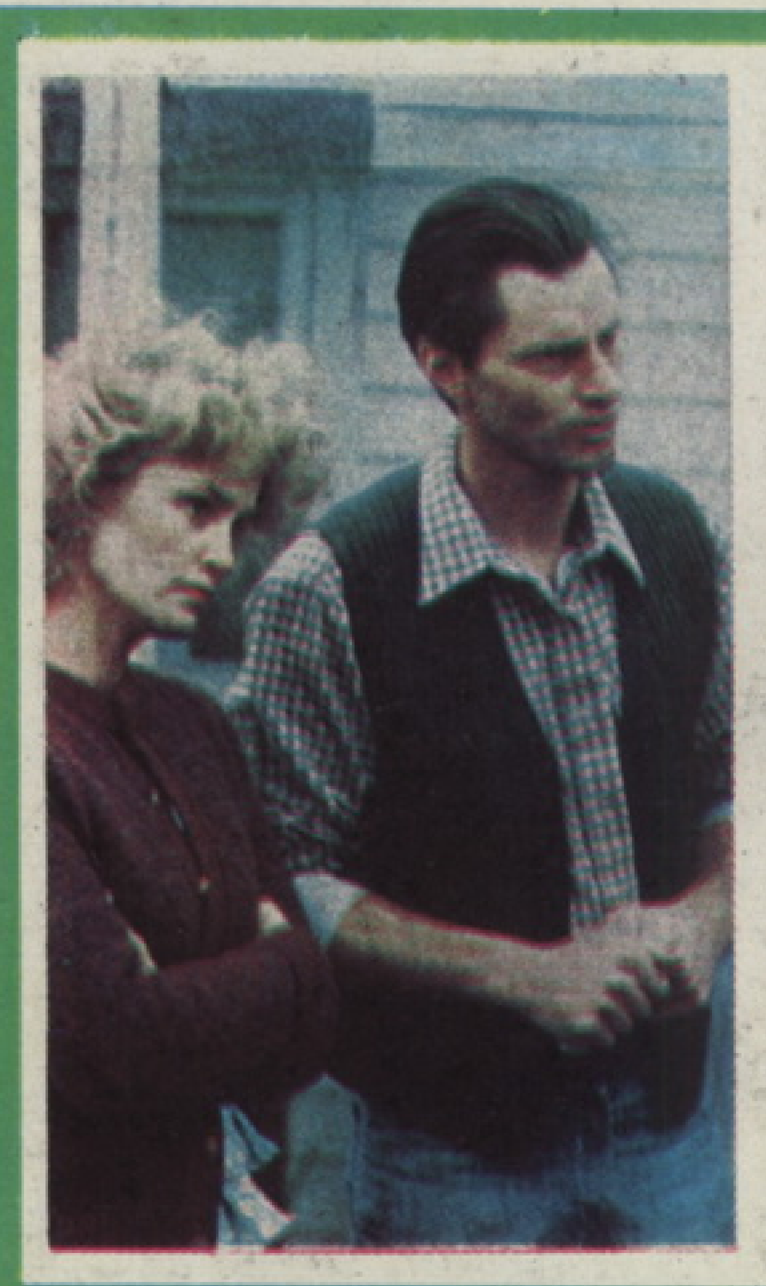




КЕМ БЫТЬ! «На сегодняшний день он пока не знает точно, кем стать — бейсболистом или пожарником. Но, боюсь, судьбы музыканта ему не избежать»,— говорит о своем сыне Йоко Оно, вдова Джона Леннона. Восьмилетний Леннон уже исполнил одну из песен мамы в ее новом диске.

Кроме него, в записи пластинки участвовала неплохая компания: Элвис Костелло, Гарри Нипссон, Роберта Флэк... Остается добавить, что его старший брат Джулиан Леннон (недавно ему исполнилось 22 года) теперь самостоятельный музыкант и уже выпустил свой сольный диск. Так что судите сами...

О ПОЛЬЗЕ ХОРОШИХ МАНЕР. Прекрасный рецепт от безработицы и прочих невзгод предложила некая мисс Мэннерс читателям газеты «Вашингтон пост». «Не бывает трудных времен,— с завидным оптимизмом уверяет она американцев,— но бывает, люди не умеют преодолевать трудности». Как овладеть этим умением? Да очень просто: «Хорошие манеры, грация, элегантность и непринужденность — вот путь к спасению от любых бед!» Умейте так закинуть ногу за ногу, усаживаясь в кресло, чтобы собеседник мог заметить, что ваша обувь и носки из самого дорогого магазина, научитесь так улыбаться, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что вы пользуетесь услугами лучшего дантиста и т. д. и т. п. Вот только где взять деньги на лучшую обувь, лучшего дантиста и т. д. и т. п., мисс Мэннерс скромно умалчивает.



С ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ. «Голливуд — это совершенно аморальное местечко. Людей с совестью там — пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать. Ненавижу голливудскую жизнь, не хотела бы повторить свою молодость там» — это строки из интервью актрисы Джессики Лэнж, знакомой нашим зрителям по фильмам «Тутси» и «Фрэнсис» (за свою работу в последнем Джессика получила приз Московского кинофестиваля).

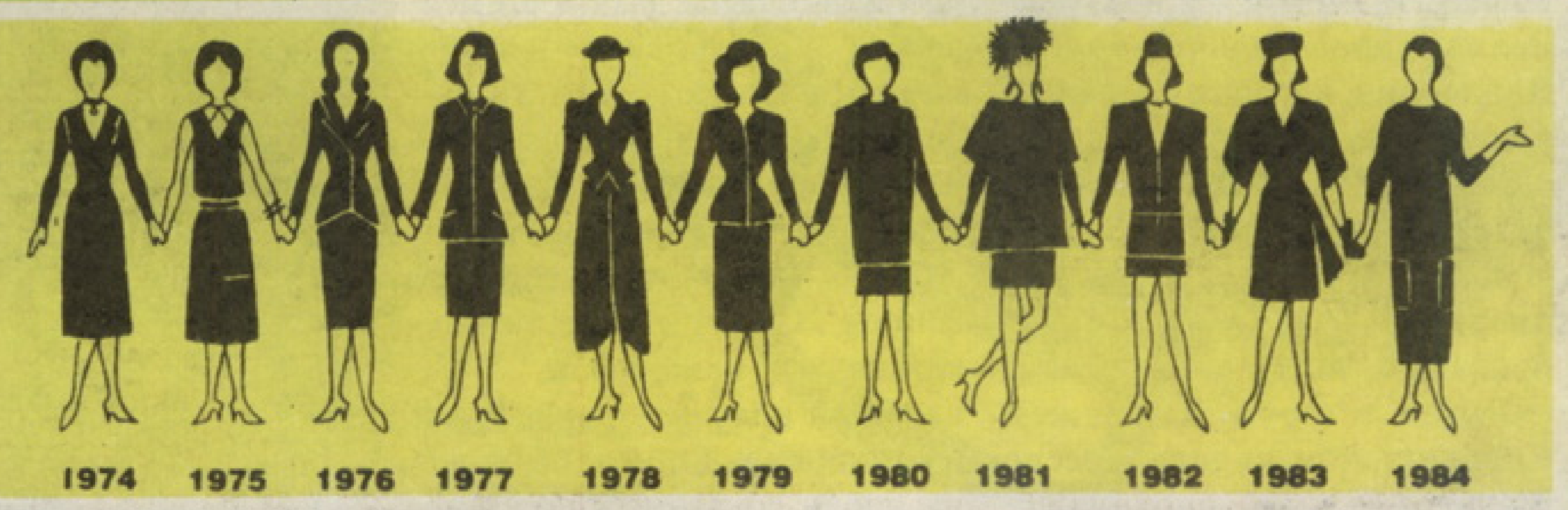
После «Фрэнсис» у актрисы был перерыв в два года, и вот теперь — фильм «Деревня». Героиня его, Джил, в одиночку сражается против могущественной корпорации, которая стремится захватить принадлежащую семье Джил ферму, лишить ее детей крова.



ВЕЗУЧИЙ. Папа́ Депардье хотел сделать из сына коммерсанта и выделил ему долю в семейном бизнесе, но тот «ухнул» ее в организацию театральной труппы. Папа́, естественно, возмутился, а блудный сын стал актером № 1 Франции.

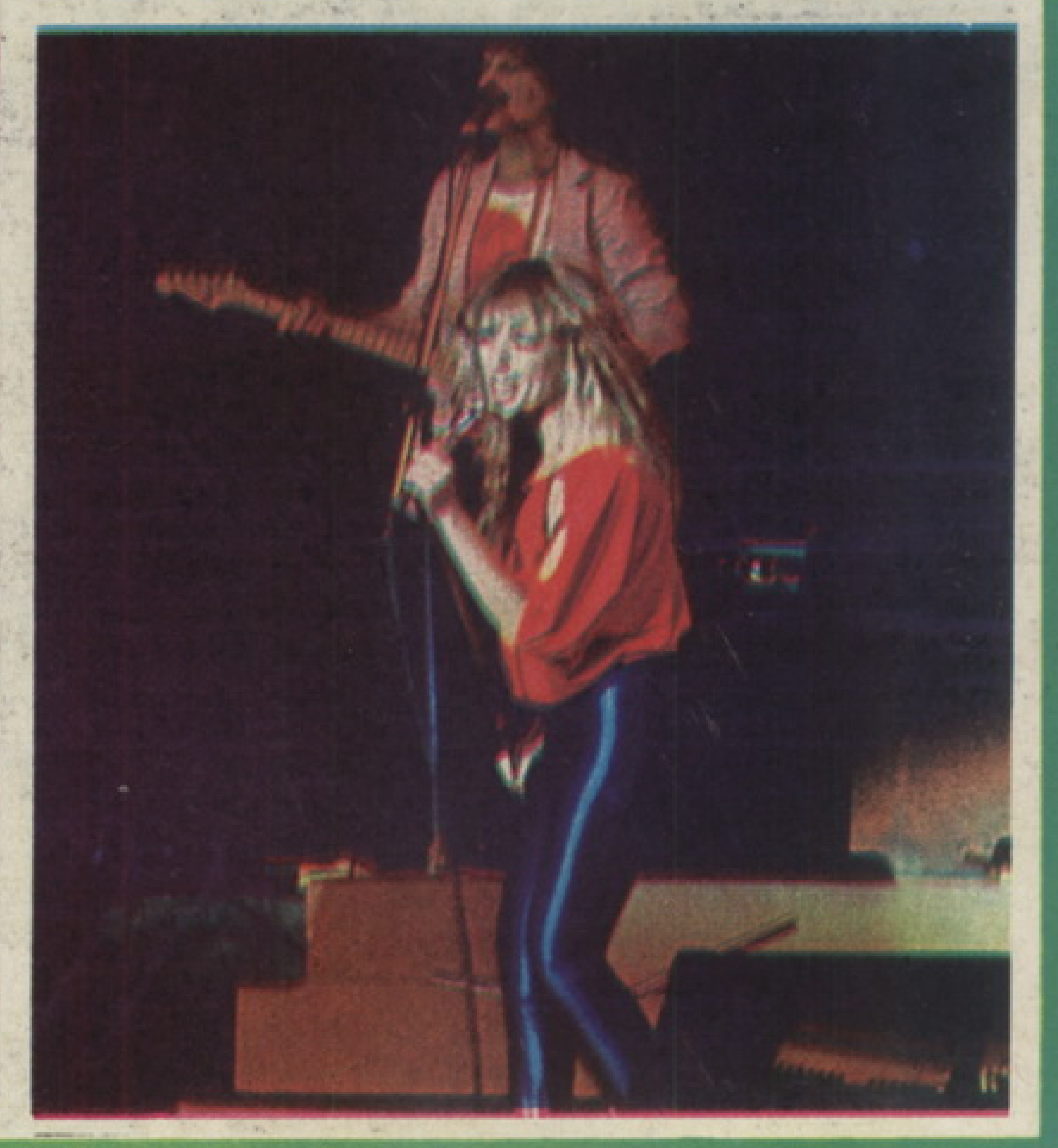
Тяжеловатый, с лицом даже скорее угрюмым, за десять лет Жерар Депардье снялся уже в 45 фильмах. Особенно часто ему приходится исполнять роли «первых любовников» (на снимке: с Натали Байе в фильме «Возвращение Мартина Герра»). Но подвластны ему и трагедия, и самая развеселая комедия. Пример: прошедший недавно по нашим экранам фильм «Невезучий».





НОВОСТИ НАУКИ. «Наконец-то это удалось!» — воскликнул американский антрополог Альфред Кроуэбер, когда на основании многочисленных расчетов вывел «единицу подвижности моды». По Кроуэберу, длина женских юбок варьируется с определенной регулярностью на протяжении 50 лет. Иные ученые мужи с Кроуэбером не согласны, спор продолжается, но женщины спокойны: они-то уже не один век знают, что бабушкины платья выкидывать не стоит...

«НОВЫЙ ЗВУК». Этих музыкантов хорошо знают во многих европейских странах. Прошедшей осенью, когда ансамбль во второй раз приехал на гастроли в СССР, с участниками его встретился наш корреспондент: «Когда мы начали играть, нас было пятеро парней. Но летосчисление истинного «Неотона» мы, по общему согласию, ведем с момента, когда к нам пришли три девушки. «Неотон» в переводе с венгерского — «новый звук», и в этом названии, пожалуй, суть нашей работы. Мы делаем музыку танцевальную, рассчитанную в основном на молодежь. И все же темы песен достаточно серьезны. Мы поем о том хорошем, что соединяет нашу молодежь, но не избегаем говорить и о проблемах». Добавим, что в 1983 году коллектив занял первое место на международном фестивале в Японии.





Невероятная кража

Агата КРИСТИ, английская писательница

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Рис. В. РЫЖОВА

1

Когда дворецкий разносил суфле, лорд Мэйфилд наклонился к своей соседке справа, леди Джулии Каррингтон, и стал ей что-то нашептывать. Он славился как гостеприимный хозяин и старался поддерживать эту репутацию. Лорд Мэйфилд не был женат, но умел очаровывать женщин.

Леди Джулия Каррингтон, высокая, темноволосая, подвижная женщина лет сорока, все еще была красива. Она отличалась резкими манерами — нервы у нее были до крайности напряжены.

Напротив нее за круглым столом сидел ее муж — маршал авиации сэр Джордж Каррингтон. Его карьера началась во флоте, и он сохранил повадки старого морского волка. Он смеялся и поддразнивал очаровательную миссис Вандерлин, которая сидела по левую руку от хозяина дома.

Миссис Вандерлин была на редкость красивой блондинкой. Она говорила с легким американским акцентом — приятным, но не навязчивым.

Рядом с сэром Джорджем Каррингтоном сидела миссис Макатта — член парламента и великий специалист по жилищному строительству и защите детей. Она бросала отрывистые фразы и имела довольно грозный вид. Неудивительно, что маршал авиации предпочитал беседовать с соседкой справа.

Миссис Макатта просвещала соседа слева — молодого Регги Каррингтона, выпаливая короткими очередями поучительные сведения на свои излюбленные темы.

Регги Каррингтону был двадцать один год, и вопросы жилищного строительства, защиты детей и вообще любые политические проблемы не интересовали его ни в малейшей степени. Время от времени он изрекал: «Как ужасно!», «Совершенно с вами согласен», но мысли его были далеко. Между молодым Каррингтоном и его матерью сидел личный секретарь лорда Мэйфилда мистер Карлайл. Бледный молодой человек в очках, с умным лицом и сдержанными манерами, он говорил мало, но был готов прийти на выручку, как только возникала неловкая пауза. Видя, что Регги Каррингтон с трудом подавляет зевоту, он наклонился в сторону миссис Макатты и весьма к месту задал вопрос о разработанной ею системе оценки «пригодности» детей.

Вокруг стола в приглушенном желтоватом свете бесшумно двигались дворецкий и два лакея, разносившие блюда. Лорд Мэйфилд платил большое жалованье повару и был известен как отменный гурман.

Хотя стол был круглый, хозяина дома можно было угадать безошибочно: он сидел как бы «во главе». Это был крупный широкоплечий мужчина с густой серебристой шевелюрой, большим прямым носом и слегка выдающимся вперед подбородком — лицо, на которое легко рисовать карикатуры. Лорд Мэйфилд сочетал политическую карьеру с деятельностью главы крупной машиностроительной фирмы. Сам он был первоклассным инженером. Год назад он получил звание пэра и одновременно был назначен на вновь созданный пост министра вооружений.

Принесли десерт. После него женщины покинули комнату.

Лорд Мэйфилд заговорил об охоте на фазанов. В течение нескольких минут разговор вертелся вокруг спорта. Потом сэр Джордж сказал:

— Регги, мой мальчик, ты, наверное, не прочь присоединиться к дамам в гостиной. Лорд Мэйфилд не обидится.

Юный Каррингтон сразу понял намек.

Мистер Карлайл пробормотал:

— Извините меня, лорд Мэйфилд, мне надо подготовить кое-какие бумаги.

Лорд Мэйфилд кивнул. Оба молодых человека вышли. Слуги удалились еще раньше. Министр вооружений и глава военно-воздушных сил остались вдвоем.

Помолчав с минуту, Каррингтон спросил:

— Ну как, в порядке?

— В полнейшем. Ничто не

сравнится с этим новым бомбардировщиком — ни в одной стране Европы.

— Заткнули их за пояс, а? Я так и думал.

— Господство в воздухе,— сказал лорд Мэйфилд решительным тоном.

Сэр Джордж Каррингтон вздохнул с облегчением.

— Давно пора! Да, Чарлз, трудное время нам пришлось пережить. Европа — пороховой погреб. А мы были совсем не готовы, черт возьми! Буквально висели на волоске. И сейчас еще опасность не миновала, как бы мы ни спешили со строительством нового самолета.

Лорд Мэйфилд негромко сказал:

— И все же, Джордж, есть преимущество и в том, что мы начали поздно. Многие европейские машины уже устарели, а страны опасно близки к банкротству.

— По-моему, это все слова,— мрачно сказал сэр Джордж.— Мы постоянно слышим, что та или другая страна обанкротилась. Но они все равно продолжают существовать. Для меня финансы — непостижимая материя.

В глазах лорда Мэйфилда мелькнула усмешка. Сэр Джордж Каррингтон всегда был старомодным грубовато-добродушным морским волком. Правда, кое-кто считал, что это только личина.

Переменив тему, Каррингтон сказал нарочито небрежно:

— Привлекательная женщина эта миссис Вандерлин, а?

Лорд Мэйфилд ответил:

— Вы ломаете голову над тем, почему она здесь?

Каррингтон смешался:

— Вовсе нет, вовсе нет!

— Не притворяйтесь, Джордж. Вы боитесь, что я стал ее очередной жертвой.

Каррингтон медленно произнес:

— Признаюсь, мне показалось немного странным, что она здесь, ну... именно в этот уик-энд.

Лорд Мэйфилд кивнул:

— Почуяв падаль, слетаются стервятники. Лакомый кусок налицо, а миссис Вандерлин можно считать стервятником номер один.

Маршал авиации отрывисто спросил:

— Вы что-нибудь знаете об этой женщине?

Лорд Мэйфилд отрезал кончик сигары, зажег ее и, откинувшись назад, начал говорить, старательно обдумывая слова:

— Что мне известно о миссис Вандерлин? Мне известно, что она американская подданная. Мне известно, что у нее было три мужа разных национальностей и что в результате она установила «контакты» — так, кажется, это называют — в трех странах. Мне известно, что она умудряется покупать очень дорогие туалеты и жить в роскоши и что не совсем ясно, откуда она берет на это средства.

С усмешкой сэр Джордж Каррингтон заметил:

— Я вижу, ваши люди не бездействовали, Чарлз.

— Мне известно,— продолжал лорд Мэйфилд,— что, помимо соблазнительной внешности, миссис Вандерлин обладает еще умением внимательно слушать и проявлять живой интерес, когда ее собеседник садится на своего конька. Это значит, что мужчина может рассказывать ей о своей работе, чувствуя, что ей это чрезвычайно интересно. Некоторые молодые офицеры заходили, пожалуй, слишком далеко, стремясь заинтересовать ее разговором, после чего их карьера пострадала. Они рассказывали миссис Вандерлин немного больше, чем следовало. Почти все друзья этой дамы служат в вооруженных силах, прошлой зимой она охотилась в некоем графстве близ одного из наших крупнейших военных заводов и приобрела несколько дружеских связей отнюдь не спортивного характера. Короче говоря, миссис Вандерлин — весьма полезный человек для...— Он описал сигарой круг в воздухе.— Пожалуй, лучше не будем называть вслух, скажем лишь — для одной европейской страны, а быть может, и не для одной.

Каррингтон облегченно вздохнул.

— А вы думали, что сирена меня околдовала? Мой дорогой Джордж! Методы миссис Вандерлин слишком заметны для такого стреляного воробья, как я. Кроме того, она, как говорится, не первой молодости. Ваши юные командиры эскадрилий не заметили бы этого, но мне уже 56 лет, дружище. Года через четыре я, наверное, стану противным стариком и буду бегать за молоденькими девушками.

— Какой я дурень,— сказал Каррингтон извиняющимся тоном,— но мне показалось немного странным...

— Вам показалось странным, что она здесь, в довольно интимной компании, и именно в тот момент, когда мы с вами собирались провести неофициальное совещание по поводу изобретения, которое, быть может, революционизирует всю систему противовоздушной обороны?

Сэр Джордж Каррингтон кивнул.

Лорд Мэйфилд сказал с улыбкой:

— В этом все дело. Это приманка.

— Приманка?

— Видите ли, Джордж, говоря языком кинофильмов, у нас нет улик против этой женщины. А нам необходимо что-то конкретное! Она слишком часто выходила сухой из воды. Она осторожна, чертовски осторожна. Нам известно, чем она занимается, но у нас нет определенных доказательств. Надо соблазнить ее чем-нибудь заманчивым.

— И это заманчивое — чертежи нового бомбардировщика?

— Именно. Для того чтобы она пошла на риск, обнаружила свои намерения, нужно что-то действительно заманчивое, и тогда она в наших руках!

— Ну что ж,— с сомнением протянул сэр Джордж,— наверное, это разумно. А что, если она не захочет пойти на риск?

— Будет очень жаль,— сказал лорд Мэйфилд и добавил: — Но, думаю, она рискнет...

— Что ж, надеюсь, ваш план увенчается успехом, Чарлз.

Лорд Мэйфилд встал.

— Не пойти ли нам к дамам в гостиную? Мы не должны лишать вашу супругу партии бриджа.

Сэр Джордж проворчал:

— Джулия помешана на бридже. Просаживает кучу денег. Она не может себе позволить играть так крупно, и я ей говорил об этом. Беда в том, что Джулия — прирожденный игрок.

2

Разговор в гостиной не ладился. Миссис Вандерлин в дамском обществе обычно не пользовалась успехом. Свойственная ей способность слушать с чарующим вниманием, которую так ценили представители сильного пола, по той или иной причине не импонировала женщинам. Леди Джулия легко впадала в крайности: ее манеры были то изысканными, то ужасными. Миссис Вандерлин ее раздражала, а миссис Макатта наводила скуку, и она не скрывала своих чувств. Разговор мог бы совсем прекратиться, если бы не миссис Макатта.

Это была женщина редкой целеустремленности. Она сразу же сбросила со счета миссис Вандерлин: «Бесполезный и паразитический тип». Леди Джулию она старалась заинтересовать в предстоящем благотворительном вечере. Леди Джулия отвечала туманно, раз или два подавила зевок и наконец погрузилась в свои мысли. «Почему не приходят Чарлз и Джордж? Какие мужчины нудные». Она все чаще отвечала невпопад.

Когда мужчины наконец вошли в гостиную, женщины сидели молча.

Лорд Мэйфилд подумал: «У Джулии сегодня болезненный вид. Эта женщина — комок нервов».

Вслух он сказал:

— Как насчет партии в бридж?

Леди Джулия сразу оживилась — бридж был для нее смыслом жизни.

В этот момент в комнату вошел Регги Каррингтон, и

составилась партия. Леди Джулия, миссис Вандерлин, сэр Джордж и Регги уселись за карточный столик. Лорд Мэйфилд взял на себя задачу развлекать миссис Макатту.

После двух робберов сэр Джордж демонстративно посмотрел на каминные часы:

— Вряд ли есть смысл начинать новый роббер.

Его жена расстроилась:

— Еще только без четверти одиннадцать! Один короткий...

— Они никогда не бывают короткими, дорогая,— добродушно сказал сэр Джордж.— К тому же нам с Чарлзом надо поработать.

Миссис Вандерлин негромко заметила:

— Как это важно звучит! Наверное, вы, умные мужчины, которые всем заправляют, никогда не отдыхаете по-настоящему.

— Да, сорокавосьмичасовая рабочая неделя не для нас,— сказал сэр Джордж.

Миссис Вандерлин проворковала:

— Вы знаете, мне, право, стыдно за себя, я такая неотесанная американка, но я обожаю встречаться с людьми, которые вершат судьбы страны. Вам, сэр Джордж, наверное, это кажется примитивным.

— Дорогая миссис Вандерлин, мне никогда не пришло бы в голову назвать вас неотесанной или примитивной.

Он улыбнулся, и в его голосе прозвучала ироническая нотка, которая не ускользнула от нее. Она быстро нашлась и, повернувшись к Регги, сказала с милой улыбкой:

— Жаль, что нам не придется больше играть вместе. Вы дьявольски умно объявили «без козыря».

Покраснев от удовольствия, Регги пробормотал:

— Просто повезло, что комбинация удалась.

— Нет, нет, вы действительно очень умно рассчитали. Пока торговались, вы сообразили, у кого какие карты, и соответственно пошли. По-моему, это блестящий ход.

Леди Джулия резко встала.

«До чего же эта женщина бесстыдно заигрывает»,— подумала она с чувством гадливости. Потом перевела взгляд на сына, и глаза ее сразу потеплели. Каким трогательно молоденьким и довольным он казался. Как он невероятно наивен! Неудивительно, что он попадает в переделки. Слишком доверчив. Вся беда в том, что он по натуре очень мягкий. Джордж его совсем не понимает. Мужчины так жестки в своих суждениях. Они забывают, что сами были молодыми. Джордж слишком суров с Регги.

Миссис Макатта поднялась. Все пожелали друг другу спокойной ночи.

Женщины вышли из комнаты. Лорд Мэйфилд увидел в дверях Карлайла.

— Достаньте папки и все бумаги, Карлайл. В том числе чертежи и фотокопии. Мы с маршалом скоро придем. Только подышим немного воздухом, а, Джордж? Дождь перестал.

Карлайл собрался уйти, но в дверях столкнулся с миссис Вандерлин и извинился.

Она заявила:

— Тут где-то моя книга. Я читала ее перед обедом.

Регги подскочил к ней и протянул книгу.

— Эта? Она лежала на диване.

— Да, да. Ба-альшое спасибо.

Она нежно улыбнулась, снова пожелала доброй ночи и удалилась.

Сэр Джордж открыл одну из стеклянных дверей на террасу.

— Прекрасный вечер. Хорошо, что вам пришла в голову мысль пройтись.

— Спокойной ночи, сэр,— сказал Регги.— Я пойду спать.

— Спокойной ночи, мой мальчик,— ответил лорд Мэйфилд.

Регги взял детектив, который читал вечером, и ушел.

Лорд Мэйфилд и сэр Джордж вышли на террасу.

Вечер был действительно чудесный. Ясное небо было усыпано звездами.

Сэр Джордж втянул в себя воздух.

— Хм, эта женщина не жалеет духов,— заметил он.

Лорд Мэйфилд засмеялся.

— Хорошо хоть, что не дешевые духи. Пожалуй, это один из самых дорогих запахов, какие есть в продаже.

Сэр Джордж покривился.

— Спасибо и на этом.

— Что верно, то верно. Ничего нет противнее женщин, которые душатся дешевыми духами.

Сэр Джордж посмотрел на небо.

— Удивительно быстро распогодилось. Когда мы обедали, я слышал, как барабанил дождь.

Они не спеша прогуливались по террасе, которая тянулась вдоль всего дома. От террасы сад уходил под уклон, и открывался изумительный вид.

Сэр Джордж зажег сигару.

— Так вот, насчет этого сплава...— начал он.

Разговор принял чисто технический характер.

Когда они в пятый раз дошли до конца террасы, лорд Мэйфилд сказал со вздохом:

— Наверное, пора идти.

— Да, нам еще надо изрядно поработать.

Они повернулись, и вдруг лорд Мэйфилд удивленно вскрикнул:

— Ой, видите?

— Что? — спросил сэр Джордж.

— Мне показалось, что кто-то пробежал через террасу из двери моего кабинета.

— Чепуха, старина. Я ничего не видел.

— А я видел — или мне показалось, что видел.

— Это обман зрения. Я смотрел прямо перед собой и увидел бы человека на террасе. От моих глаз ничего не ускользнет, хоть я и держу газету на вытянутой руке.

Лорд Мэйфилд засмеялся.

— Тут я посильнее вас, Джордж, я читаю без очков.

— Но вы не всегда различаете людей на скамьях оппозиции. Или этот ваш монокль просто средство устрашения?

Со смехом они вошли в кабинет лорда Мэйфилда, стеклянная дверь которого тоже выходила на террасу и была открыта.

Продолжение следует

Перевела с английского
Н. ЛОСЕВА





САН-РЕМО: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ?

А. МУДРОВ

Согласно старинной легенде покровительница моря и зари богиня Матута спустилась однажды в живописную бухту на лигурийском побережье и, пораженная великолепием ее окрестностей, одарила их мягким климатом, усеяла благоухающими цветами и плодоносящими деревьями. Позже здесь возвели поселок и в честь благосклонной небожительницы назвали его Матуциа.

Древнеримские историки связывают появление городка с именем патриция Кайо Матуцио, который, страдая какими-то тяжелыми недугами, перебрался на берег прекрасной бухты (300 солнечных дней в году) в поисках здоровья и воздвиг здесь сказочную по красоте и роскоши виллу. Вокруг нее постепенно отстраивался поселок, который до позднего средневековья сохранял название Вилла Матуциана.

В 1361 году, после многочисленных сарацинских набегов, Вилла Матуциана вошла в состав Генуэзской республики и была переименована в Сан-Ремо (так на местном диалекте звучит имя патрона Генуи — святого Роему). Впоследствии Сан-Ремо неоднократно переходил из рук в руки и лишь в 1861 году стал равноправным городом объединенного Итальянского королевства.

В 1855 году маркиза Аделе ди Роверицио, женщина, как свидетельствуют хроники, энергичная и дальновидная, опубликовала в крупных европейских газетах свою статью, где описываются и расхваливаются прелести отдыха в Сан-Ремо. Так было положено начало основной отрасли сан-ремовских доходов — туризму. В городок, расположенный на границе с Францией, начала съезжаться европейская аристократия и богема.

Постепенно вся жизнь в Сан-Ремо подчинилась одному принципу: главное — гости. Гостиницы, сувенирные лавки, рестораны, цветочные рынки (500 гектаров территории города занимают розы и гвоздики) — все работало на туризм. Даже монахини местного монастыря организовали широкую торговлю лимонным и брусничным вареньем, которое готовится по старинным рецептам и считается гурманами непревзойденным.

В начале XX века туризм дал толчок еще одному источнику прибылей — индустрии казино. И именно с казино начинается история самой яркой особенности Сан-Ремо — его ежегодных песенных фестивалей...

Начавшийся 1951 год в Италии вряд ли можно было назвать новым: он продолжал вереницу угрюмых послевоенных лет и не обещал никаких радостных перемен. Каждый в стране жил своими заботами, людям было не до развлечений.

Администратор муниципального казино Сан-Ремо Пьер Буссети не знал тогда ни минуты покоя. День и ночь его одолевала одна и та же мысль: что делать! Как привлечь клиентов! Чем их вернуть за зеленые столы! Этими вопросами он извел себя и измучил всех знакомых. Но в некогда гудевших как ульи залах казино слышался лишь кашель и полушепот пожилых синьоров, развлекавших своих верных, но таких же пожилых подруг. Буссети был в отчаянии. Спасение пришло в образе проезжавшего через Сан-Ремо журналиста Анджело Ницца.

Человек на редкость практичный, Ницца сделался своим парнем во всех редакциях государственного итальянского радио (РАИ). Поставленная им музыкальная радиокомедия «Три мушкетера» принесла большой успех и сблизила его с сотрудниками секции легкой музыки, с дирижером Чиники Анджелини и певцами Ниллой Пицци, Джорджио Консолини, Джино Латиллой.

Когда Буссети поделился с Ницца своими заботами, тот вспомнил о своем приятеле Анджелини. Так было решено, что в течение трех дней — с 27 по 31 января 1951 года — в казино Сан-Ремо будут проходить выступления 20 лучших певцов Италии. Для большей привлекательности программе придали форму конкурса, который изнуренный в поисках спасительных вариантов Буссети незатейливо окрестил «Фестиваль песни». Руководители РАИ согласились транслировать фестиваль в эфир. А все расходы по организации мероприятия взяла не себя администрация казино.

Пьер Буссети для дела не скупился: 27 января казино было убрано тысячами белых гвоздик, а праздничное меню украшали икра и осетрина — небывалая роскошь для послевоенной Италии, где, как вспоминают журналисты, насчитывалось 4 миллиона неграмотных и еще больше живущих впроголодь.

В зале притушили свет. Оркестр Анджелини заиграл мелодию «Кьезетты» — эмблемы музыкальных радиопередач, и ведущий заявил на всю страну: «Дорогие друзья, позвольте представить вам...»

Но гости продолжали свой ужин и слушали лишь краем уха. В зале преобладал гастрономический интерес. Радиослушатели в тот вечер тоже не предполагали, что стали свидетелями незаурядного события.

Но на следующий день, когда публика голосованием начала отбирать песни для финала, горячая кровь итальянцев заиграла: в редакциях газет затрещали телефоны, дома знакомые и родственники как тигры набрасывались на журналистов с расспросами. Сан-Ремо было у всех на устах. Это слово стало синонимом «движения вперед». Почему! «Тайны здесь никакой нет,— считает публицист Джорджио Бокка,— песни Сан-Ремо нравились и были понятны всем, но на этот раз их впервые можно было слушать не пассивно, а вынося свое суждение, отстаивая свой вкус, и при этом, опять-таки в первый раз, быть уверенным, что к тебе прислушиваются, что ты относишься к той престижной Италии, которой занимаются газеты и журналы...»

Близится финал фестиваля. Все заключают пари. И вот наконец ведущий выводит на сцену жену романьольского каменщика Ниллу Пицци: большинством голосов исполняемая ею песня «Спасибо за цветы» признана лучшей. Журналисты сразу же окрестили победительницу «королевой песни». Лирический мотивчик стали насвистывать на каждом углу. И за несколько месяцев новоиспеченная «королева», продав 45 тысяч своих пластинок (в то время в Италии в обращении было всего лишь около 3 миллионов дисков), пополнила семейную казну поистине крезовой суммой. Газеты шутили по этому поводу: «Строгий муж все простил Пицци за этот вклад; и то, что она сократила свое настоящее имя Адонилла до более благородного — Нилла, и то, что в песенке-чемпионке благодарит за цветы какого-то постороннего мужчину...»

Итак, фестиваль родился. Шумным ребенком он ворвался в жизнь Италии и запустил механизмы рекламы, идолопоклонства, коммерции. Отныне каждая граммофонная фирма подписывает контракты с популярными исполнителями, стремится иметь свои голоса в отборочной комиссии и свою клаку в сан-ремовском зале. Еженедельники дают крупные портреты певцов и певиц, облаченных в не очень-то ладно сидящие на них смокинги и отороченные мехом вечерние платья. «Они предстают такими, какие есть,— пишет Джорджио Бокка,— с их добрыми телесами и провинциальными манерами. Рафинированная Италия смеется. Но Италия народная в их лице утверждает право всех, даже самых простых людей, иметь выход на общенациональную сцену».

Ко второму фестивалю из казино убрали все столики, заменив их широкими креслами. Стоимость входного билета поднялась до 50 тысяч лир (позже она подскакивала и до 300 тысяч). Теперь для параллельного сопровождения певцов на сцене играли два оркестра. Первые ряды партера занимали известные кинематографисты, крупные промышленники и финансисты. Сан-Ремо привлекает уже не только продюсеров и владельцев фирм грамзаписи: сюда съезжаются маги рекламы, хозяева крупных салонов мод, ювелиры.

Вечер 29 января 1954 года оказался для итальянцев незабываемым: новорожденное телевидение вело прямую трансляцию из Сан-Ремо. Великое чудо — телевидение! Поистине великое, если, как пишет в книге о Сан-Ремо Джанни Борнья, телезрители и в самом деле верили, что, правильно ответив на шутливые вопросы, предлагаемые ведущим фестиваля, они могут добиться успеха и разбогатеть. На достижимость успеха для всех как бы намекает и внешность артистов. Посмотрите на певиц: немножко грима, чуть-чуть помады, несложная прическа — королевы эстрады доказывают с телеэкрана, что с заурядной физиономией и коренастой фигурой можно попасть в свет юпитеров и очаровывать публику. Все так ясно и просто.

Фестиваль 1954 года — триумф темы любви к матери. «Все мамы» — так называется мелодичная грустная песня, с которой заняли первое место Джино Латилла и Джорджио Консолини. Образ матери вообще часто встречается в популярных песнях тех лет. Достаточно вспомнить облетевшие весь мир слова «Мамы» в исполнении Робертино Лоретти: «Я счастлив, лишь когда возвращаюсь к тебе, мама, лишь с тобой я спокоен...» Но не так просты эти строчки, как кажется на первый взгляд: в итальянской народной психологии и культуре 50-х годов образ матери принимает значение семьи-защитницы — единственной надежной опоры человека, которой противостоят государство и общество. Италия, писали тогда многие социологи, это не страна, а федерация семей.

В 1955 году начинается перестройка эстрадного Олимпа и появляются новые имена. Если Ниллу Пицци журналисты называли «королевой песни», то Клаудио Вилла, занявший первое место с песней «Здравствуй, грусть», получает от них эпитет «звезда». После фестиваля по всей стране на мощнейшей коммерческой основе начинают организовываться клубы поклонников, а кумиры, подобно странствующей мадонне, объезжают всю Италию. Появляется специальная музыкальная пресса, представители которой шаг за шагом и день за днем описывают жизнь певцов и музыкантов. Все эти нововведения позволили впоследствии одному музыковеду написать: «На Олимпе Сан-Ремо поселились новые боги. Но это еще не Зевсово поколение, а только племя Кроноса, которому предстоит сгинуть в Тартаре...» И действительно, они продержались на вершине недолго: песня — победительница 1957 года «Струны моей гитары» в исполнении Клаудио Вилла стала лебединой песней первого этапа, когда, по выражению журналистки Алиды Милителло, чистые сердца итальянцев поражали мелодичные эстрадные послания, исполненные лиричности, томности и печали.

В изящном белом костюме он стоял, широко раскинув руки, словно хотел воспарить над сценой. «О, синева, о как сладок полет, ле-та-ать». Модуньо низко поклонился публике. Это было в 1958 году, когда с песней «Раскрашенный синим в синеве» он стал победителем фестиваля. «Что значит это «летать»! — напишут потом газеты.— Предсказание грядущего экономического бума! Предчувствие близких космических полетов! Символическое воспевание свободы!» Через 24 года 54-летний певец, композитор и режиссер, рекордсмен по числу проданных пластинок («Раскрашенный синим в синеве» разошлась по миру тиражом 23 миллиона), Доменико Модуньо отвечает на этот вопрос так: «Это был крик освобождения, радости. В ту эпоху царила жажда, жажда всего: крыши над головой, хорошей одежды и даже пары плодов хурмы. Да, хурмы. Я видел ее во сне. А вечером, после победы в Сан-Ремо, я купил ее целый ящик и, усевшись на парапете фонтана, всю съел. Какое удовольствие! Это тоже значило «ле-та-ать». Но тот факт, что «Раскрашенный синим в синеве» привлек внимание рафинированной Италии, заставил интеллектуалов придумывать символы, якобы содержавшиеся в песне, говорил о бурных переменах, происходивших в Сан-Ремо. «Это был решительный поворот,— пишет Джорджио Бокка,— сентиментальная крестьянская Италия отжила свое на сцене, и молодежь начинает петь и играть так, как ей подсказывают представители «индустриальной цивилизации», англичане и американцы...»

«В 1961 году на сцену Сан-Ремо выходит новая гвардия. Каждый гвардеец, культивируя по-своему иностранные ритмы, пытается их привить итальянскому вкусу. Постановка голоса, жесты, одежда — все отличает их от старых певцов»,— писала журналистка Карла Стампа об одиннадцатом фестивале. Бетти Куртис, Мина, Челентано, Мильва, Литл Тони, Тони Даллара — вот эти экстравагантные герои, ставшие впоследствии известными во всем мире. Но тогда они поражали не талантом, а замысловатыми заморскими па. Исполняя «Тысячи синих пузырей», Мина оттягивала пальцами губу. Литл Тони, выступая в паре с Челентано, пружинил коленями и приподнимался на цыпочки, отдавая дань правилам рока. Мильва (настоящее имя Мария Ильва Бьолкати) пела «Море в коробке» разряженная, по ее словам, как жертва перед закланием. Тони Даллара завывал и грохотал так, что мог бы порадовать слух изобретателя динамита Нобеля, некогда жившего в Сан-Ремо. Но более всех потряс Челентано: во время выступления он вдруг неожиданно повернулся к залу спиной и оставался

в таком положении до конца песни. «Это знаменует конец хороших манер!» — гремела пресса. Но ни сценическая акробатика, ни повадки зоопарковых хищников не помогли обрести успех. Публика в тот год еще с недоверием относилась к новой эстрадной манере. И дебютанты получили только прозвища от журналистов: Мину назвали «тигрицей из Кремоны», Мильву — «пантерой из Горо», Тони Даллара обозвали «урлаторе», что можно перевести как «горлопан», а Челентано снискал славу скандального парня. Что касается первого места, то его заняла «старая эстрадная лошадка» — Лучано Тайоли.

В 1964 году победительницей фестиваля в Сан-Ремо и Еврофестиваля стала школьница Джильола Чинкуэтти. Чем-то напоминающая участниц первых фестивалей, Джильола, писала пресса, искренне и непосредственно исполнив «У меня нет возраста», как бы вернула публику в прошлое... Ее победа приостановила на мгновение начавшуюся фестивальную гонку, а итальянская мелодичность песни разрядила плотную атмосферу иностранных ритмов. Подобное во втором десятилетии Сан-Ремо будет случаться.

Но почему же фестиваль пользуется столь большой популярностью в те годы! И здесь мы узнаем, что в Сан-Ремо по специальным рецептам готовят не только лимонное варенье... «Причина успеха,— утверждает Джорджио Бокка,— заключается в том, что в основе фестиваля лежит компромисс, соединяющий две культуры и делающий музыку Сан-Ремо уместной в любом доме, в любом баре. Такие певцы, как Мина, Челентано, Мильва и другие,— они на все вкусы...» «Законы коммерции,— развивает эту мысль автор текстов многих популярных песен Могол,— заставляли изыскивать легкие сентиментальные темы и несложные, но модные мотивы. К фестивалю песню шлифовали все подряд — от хозяина запускающей ее граммофонной фирмы до самого исполнителя. Это был какой-то инженерный монтаж: нет, эта рифма сюда не пойдет, этот звук нужно заменить, здесь более уместно «у» и т. д. ...Ужас! Но что поделаешь: на фестивале всегда доминировали два направления: музыкальная продукция, модная в данный момент, и так называемый сан-ремовский цикл — то есть те песни, которые писались специально для Сан-Ремо и которые в другое время сбыть невозможно.

Вот на такие индустриально-промышленные рельсы было поставлено в 60-е годы начинание Пьера Буссети.

В 70-е годы фестиваль утратил свой былой престиж и успех. «Сегодня здесь шумят те, кто еще или уже никто,— говорилось в одном из интервью.— А остальные смотрят фестиваль по телевизору». Но и число телезрителей в те годы снизилось, по статистическим данным, на 25 процентов: легкая сан-ремовская продукция приелась. Тексты песен «отшлифовывались» до такой степени, что теряли всякий смысл. Основную ставку исполнители делали на внешность, что позволило Клаудио Вилла печально заключить: сегодня Сан-Ремо — это не фестиваль итальянской песни, а какой-то восточный базар с заклинателями змей и факирами. Но причины упадка не только в этом. «Новых звезд,— говорит Могол,— делают буквально из ничего. Чтобы дотягивать песни до финала, придумывают какие-то абсурдные системы. Талантливые люди не выступают в Сан-Ремо, потому что никому не хочется провалиться». «Но и этим не исчерпываются причины неуспеха фестиваля,— продолжает мысль своих коллег Доменико Модуньо.— Дело в том, что итальянской музыки сегодня нет, точно так же, как нет музыки французской, испанской, греческой, немецкой: Америка нас заполонила. Когда я включаю радио, у меня создается впечатление, что я где-то за границей — ну хотя бы что-нибудь родное! Одно подражание, отрицание собственных корней и страсть к маскараду...»

К началу 80-х годов «сан-ремовская ярмарка» становится менее пестрой и начинает постепенно возвращаться к национальной итальянской самобытности. Это меняет и отношение публики. Вновь вспыхнувший интерес объясняется начавшимися переменами в мире национальной эстрады, что подтвердила и победа на фестивале «чародея итальянской мелодии» Тото Кутуньо, впервые выступившего в качестве исполнителя собственных песен. «У людей появилась ностальгия по тем человеческим чувствам,— отмечала пресса,— которые воспевала в свое время Нилла Пицци. И песня Кутуньо «Только мы» вполне отвечала общему настроению».

1981 год видел бурную подготовку и массу интриг, предшествовавших фестивалю. Победу тогда одержала Аличе (Карла Бисси), исполнившая песню «Для Элизы», написанную Франко Боттиато, которому хозяева граммофонной фирмы ЭМИ поручили подготовить Аличе к фестивалю и «сделать ее психологию пластичной».

Но главным событием Сан-Ремо-81 было, по мнению специалистов, выступление тридцатилетнего неаполитанского певца Эдоардо де Крещенцо, исполнившего песню «Еще». Он понравился и жюри, и многим специалистам, потому что де Крещенцо пел в старой доброй неаполитанской манере.

Что же касается официальной победительницы фестиваля, то «пластичная психология» привела ее к неудачам: Аличе попала у публики в немилость, и во время осеннего турне по Италии на концерте в Риме было продано только 400 билетов, а в Милане немногим больше — 500.

В это же время невероятный успех приходит к кантауторе (в переводе — «поющий автор») — этим истинным продолжателям музыкальных итальянских традиций. Широкая публика наконец понимает, что ее музыка — это национальная музыка. «Мы подошли к поворотному моменту,— восторженно писал журналист Фабрицио Дзампа,— когда наконец можем отказаться от иностранщины. Не воспримите это как нездоровый национализм. Это просто радость, радость констатировать, что мы поняли: не нужно заимствовать у других, когда у самих целые залежи». «И ведь что парадоксально,— удивлялась газета «Република»,— на концертах сорокалетних Даллы, де Андре, де Грегори основная публика — молодежь, та молодежь, которая еще вчера воротила нос от всего итальянского». Нужно отметить: именно тогда, в 1981 году, итальянская музыка начала пользоваться поистине всемирной популярностью...

Несомненно, это не могло не отразиться на дальнейшей судьбе фестиваля: в Сан-Ремо возвращается мелодичность и лиричность, которые в 1982 году приносят победу Риккардо Фольи с песней «Истории всех дней», дают второе место Аль Бано и Ромине Пауэр («Счастье»), а третье — жене Риккардо Фольи, Виоле Валентино, исполнившей «Романтику». В 1983 году — триумф мелодии и актуальности текста — «Матиа Базар» с композицией «Римские каникулы». В 1984 году торжествует мелодичность и тема любви (Аль Бано и Ромина Пауэр «Будет»), второе место занимает Тото Кутуньо с «Серенадой». И фестиваль уже смотрят 24 миллиона телезрителей.

А 1985 год со всей очевидностью показал, как стала относиться сан-ремовская публика к «небанальным туалетам»: появление на сцене «напоминающих огородные пугала» участников заезжего ансамбля «Дюран-Дюран» и «удивительно похожих на американских рейнджеров, проведших пару недель в болотах Амазонки», молодцев из «Виллидж пипл» вызвало в зале лишь презрительный смех и свист. В числе приглашенных на 35-м фестивале в Сан-Ремо был сын Джона Леннона — Джулиан. Второе место занял 14-летний певец из Мексики Луис Мигель, выступавший с песней Тото Кутуньо «Мы сегодняшние ребята». Победу одержали «Рикки э повери» с композицией «Если я влюблюсь», а третьей оказалась выступавшая в Сан-Ремо в десятый раз Джильола Чинкуэтти.

Вот с такими перипетиями прошли 35 лет сан-ремовской истории, и у многих сегодня, несмотря на явное улучшение, возникает вполне объяснимый вопрос: а что же будет с Сан-Ремо дальше! Будет ли продолжаться эта добрая традиция! Думается, что ответом на это могут послужить слова Могола, сказанные в одном из интервью: «Мы были свидетелями нескольких периодов фестиваля: сначала он был очень сильный, потом покрылся морщинами, умер, воскрес, и сегодня он жив. И проживет он еще долго, потому что он явление не случайное, а наследие, которое нужно сохранять. Честно говоря, если бы фестиваля не было, его надо было бы придумать».



РОК КАК ЕСТЬ

(Очерки очевидца истории поп-музыки)

Ник КОН,
английский журналист

Америка: рок 1960-го

1960 год был, пожалуй, самым тяжелым для рока. Одни исполнители обратились к балладам, другие ударились в религию, третьи оказались за решеткой, четвертых не стало. Это была настоящая эпидемия, унесшая весь цвет рок-н-ролла.

Почему рок не удержался? На этот вопрос нелегко ответить. Отчасти потому, что первых рокеров преследовала злая судьба, отчасти потому, что одни не проявили гибкости, другие не прогрессировали. Однако главная причина в том, что поп-музыка эфемерна по своей природе: чтобы выжить, она должна постоянно изменяться, и даже лучшее, что в ней есть, не может удержаться надолго.

Конечно, на смену ушедшим пришли новые исполнители, но они намного уступали своим предшественникам. В основном это было продолжение «школы»: новый выводок красивых пустых мальчиков и красивых пустых песенок. О них мало что можно сказать.

Итак, почему же все омертвело? Причина, пожалуй, в рутине, которая засосала шоу-бизнес. Теперь считалось, что достаточно сымитировать Элвиса, слегка изменив сопровождение — скажем, убрать один инструмент и добавить другой,— чтобы автоматически обеспечить успех. Отчасти так оно и было. Однако каждая следующая имитация была шагом назад. Рок превратился в копию, снятую с копии, которая сама была копией. Такое не могло продолжаться бесконечно, и, когда подростки стали хуже покупать пластинки, бизнесмены встревожились не на шутку.

Ну а что тем временем происходило с потребителями рок-музыки? 1960 год оказался водоразделом между двумя поколениями подростков, своеобразным переходным периодом, что, как и другие изменения в подростковой среде, также сказывалось на характере развития рока. Вообще-то говоря, то, что рок движется с четко выраженной цикличностью — сначала прорыв, затем примерно три года сильного возбуждения, за которым следуют три года топтания на месте, и снова прорыв,— отражает эту взаимосвязь.

Каждый цикл занимает примерно семь лет, совпадая во времени с полной сменой целого поколения. Ведь жизнь одного рок-поколения составляет всего четыре года: время, необходимое для того, чтобы одиннадцатилетние подросли и стали пятнадцатилетними, а пятнадцатилетние стали девятнадцатилетними.

Не меньшее значение имеет и психология восприятия подростком окружающего. Находясь слишком близко к происходящему, семнадцатилетние «плохо видят» его. Когда с шумом появляется такая звезда, как Элвис, они раскупают его пластинки и подражают его внешности, но этот ажиотаж нельзя считать чем-то глубоким. Просто в семнадцать лет многое происходит впервые: первый костюм, первая любовь, первые ощущения взрослости. И все это происходит «на фоне Элвиса» или какого-то другого уже готового эталона. Лишь потом, когда кумир отодвигается в перспективу, начинается его осмысление, «отталкивание» от него в поисках собственного стиля, своего «я». Но какого? Вот почему 1960 год был так плох: вопрос оставался без ответа, и его пришлось ждать до 1963 года, ознаменовавшего очередной рывок.

А пока, встревоженные резким падением спроса на пластинки, фирмы грамзаписи решили покончить с рокерами и стали блокировать все, что не соответствовало канонам «школы». 1959—1960 годы были золотым веком «хайпинга»: навязать ребятишкам такой явный хлам можно было, только прибегнув к откровенной «пэйоле», а в результате возврат к благопристойности, которую символизировала «школа», превратился в самый непристойный период истории рока.

К этому же периоду относится расцвет «пляжных фильмов». Эти пышные кинопостановки были похожи одна на другую как две капли воды: в них неизменно присутствовала масса стройных тел в «бикини» и в плавках, несколько плоских шуточек, немного песен и много, много солнца, воздуха и воды. «Пляжные фильмы» составляли основную пищу, которая скармливалась подросткам 1960 года.

Олицетворением всего этого был Фабиан, история «делания» которого настолько напоминает историю Томми Стила, да и сотен других, что ее и пересказывать неловко. Когда Фабиану было тринадцать лет, его заметили два человека из «пластиночного мира», подписали с ним контракт и запустили в оборот.

Для начала у него были неплохие данные: кожа оливкового цвета, прическа типа «утиный хвост», лицо, вытянутое как лента конвейера. В общем, он чем-то напоминал Элвиса Пресли, а это было немаловажно. Далее его менеджеры проделали с ним все то, что профессор Хиггинс проделал с Элизой Дулитл [1]: его выдрессировали, научили красиво говорить, поставили голос. Его сделали идеально круглым и гладким, как бильярдный шар. Все было прекрасно, кроме одной маленькой детали: он так и не научился петь. Он менял учителей пения так же часто, как голливудские звезды меняют жен. Но что с того? Его менеджеры развернули невиданную рекламную шумиху, обивали пороги артистических агентств, кричали о нем где только можно. А сам Фабиан все это время просто стоял и сверкал.

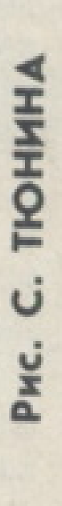
Между тем ажиотаж рос как снежный ком, и вскоре Фабиан уже не выходил на сцену, если ему предлагали менее двенадцати тысяч долларов за вечер. Ну а далее — известная песня: он богат, он «сделал свою жизнь»...

Как бы там ни было, одним Фабианом больше или меньше — значения не имело. Все

Продолжение. Начало см. в № 4 и 6 за 1985 год.

[1] *Герои пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».— Прим. ред.*





дело в том, что по-настоящему хорошие песни, красивые голоса, талантливые исполнители — это лишь детали в поп-бизнесе. Нужны супердоллары и сделанные на них супергерои, подогреваемая рекламой массовая истерия. Нужны краткосрочные периоды коллективного безумия. Отдельные личности не имеют никакого значения.

Твист

Просто удивительно, как много шума наделал твист. Если говорить честно, то за последние сорок лет не было танца более пресного, чем твист. Вам предлагалось вообразить, что вы только что приняли ванну и вытираете полотенцем спину. Вот и все!

Рок-музыка безнадежно застряла в тупике, и, чтобы вытащить ее оттуда, нужно было что-то неистовое и быстрое — неважно, настоящее или поддельное, честное или «хайпинговое», лишь бы «ударяло» покрепче. Так случилось, что в это время не было ничего более стоящего. А твист оказался под рукой. В иное время он был бы незначительным поветрием, которое не продержалось бы и полгода — очередной «хула-хуп», так сказать. Но в 1961 году стояла «засуха», поп-музыка находилась в отчаянном положении. И вот... некто Чабби Чекер выпустил хит (это был твист), нью-йоркская богема решила, что танец забавен, и стала отплясывать его. Далее вступили в свои права светские хроникеры, и, как водится, началось всеобщее безумие.

Между тем твист вовсе не был новинкой. Еще в конце пятидесятых годов появилась запись, которая так и называлась — «Твист», но тогда никто не обратил на нее внимания. Спустя два года Чабби Чекер сделал лишь перезапись и пробился в звезды.

Надо ли говорить, что крестный отец твиста если и не был талантлив, зато обладал незаурядной ловкостью. Получив в руки хит, он стал ковать железо, пока горячо. Чекер твистовал как одержимый, он демонстрировал свое детище по телевидению, рисовал его па для газет. Говорят, за год он потерял 17 килограммов веса только потому, что воображал, будто вытирает спину полотенцем. Твист был забавен, твист вошел в моду. Даже Элвис заимел твистовый хит. Все это стало попахивать большими деньгами.

И тут произошло нечто небывалое: высший нью-йоркский свет, богатейшие и знаменитейшие люди стали завсегдатаями дансингов, в которых танцевали твист. Они твистовали до одури и, право, имели очень глупый вид. Вскоре дошло до того, что приходилось выкладывать 20 долларов, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на танцующих.

Я сказал «произошло нечто небывалое», потому что раньше элита не проявляла к поп-музыке ни малейшего интереса. В пятидесятые годы было модно любить авангардный джаз, отнюдь не рок-н-ролл. Однако шестидесятые — это уже другая эпоха, повторявшая двадцатые годы — эпоху чарльстона и лихорадочного декаданса. Поэтому поп-музыка была допущена в святая святых высшего общества.

Вот тогда оно и началось — истерическое преклонение перед поп-певцами. Быть знакомым с Чекером стало считаться признаком «хорошего тона». (Спустя два-три года верхом блаженства было заслужить хоть какое-нибудь, пусть даже презрительное, замечание «Битлз». А к 1966 году самым желанным гостем на светских раутах стал Мик Джеггер: за его надутые губы любая миллионерша, не задумываясь, могла пообещать половину своего состояния.)

Итак, твист очень быстро превратился из поветрия в целую индустрию. В нее стали вкладывать большие деньги. На рынке появились «чабби-чекеровские футболки», «чабби-чекеровские джинсы», «галстуки Чабби Чекер», а также куклы, изображающие твистующего Чабби. Появились «твистовые юбки» и даже «твистовые» фильмы. Танцзалы переживали небывалый бум. На этом буме наживались все, кто только мог. Но даже теперь твист не принимали всерьез. Чтобы отыскать настоящего твистомана, надо было здорово потрудиться.

Оригинальным в твисте было только то, что его танцевали в одиночку: танцы вдруг потеряли всякую связь с романтическими любовными переживаниями.

Привлекательность твиста



для подростков заключалась, конечно, не в его музыке — она всегда была ужасно нудной. Твист привлекал по той простой причине, что он давал ребятам возможность покривляться, за что раньше они могли получить оплеуху.

Твист просуществовал недолго, да долголетия никто от него и не ожидал. Его заменили другие танцы, другие моды, но люди, выдвинувшиеся на твисте, продолжали делать деньги. В отсутствие чего-то стоящего танцы заполонили всю поп-музыку и царили в ней вплоть до «Битлз». Новые танцы появлялись чуть не каждый день. Стоило сходить в какой-нибудь клуб, а потом прийти туда через неделю — и все двигались уже по-иному. Были ребята, которые все свое время от 16 до 21 года посвящали изобретению новых танцев: занятие на полный рабочий день.

Помимо танцев, другим центром притяжения для американской молодежи ранних шестидесятых годов стало радио. Диск-жокеи, болтающие без умолку как сумасшедшие, оглушительная музыка — и так по всей стране. Улучшать тут было нечего: это безумие граничило с совершенством.

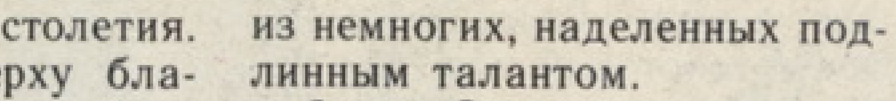
Возвращение радио было большой неожиданностью. Совершенно вытесненное телевидением, радио праздновало свой реванш. Теперь оно служило шумовым фоном. Передачи состояли целиком из музыки. Чтобы «выжить», диск-жокеям пришлось изобрести стремительную, гладкую болтовню, тоже своего рода шумовой фон. Болтовня эта была лишена всякого смысла: «Ну-ка, давай еще разок, отлично, детка, у-у-у, мамочка, валяй!» Она начиналась с глухого бормотания, постепенно нарастала, превращаясь под конец в истерические крики.

Королем диск-жокеев был Мюррей К. (так он себя называл). Он умел молоть языком быстрее, громче и дольше всех. Он же проворачивал самые крупные сделки «пэйолы». Своей истеричностью и неутомимостью, полным бесстыдством и неуемной жаждой обогащения он заслужил, чтобы его назвали символом той эпохи.

В нем не было ничего примечательного. Он брал одной наглостью. Это был человек крепкого сложения, лет под сорок, носивший соломенные канотье, тесные брюки и яркие рубашки. Его можно было принять за преуспевающего коммивояжера.

Он трещал, никогда не иссякая. Он орал, ревел, стучал





кулаком, умудряясь при этом ни разу не запнуться.

Мюррей К. пережил всех своих соперников — он был хитрее и ловчее. В начале шестидесятых он не имел конкурентов, но потом стал заметно сдавать (американские диск-жокеи вообще недолго держатся). К 1964 году он совсем было сдал. Но тут в Америку прилетели «Битлз». Они были тогда в зените славы, в американских хит-парадах их песни занимали первые пять мест. Выйдя из самолета, который приземлился в аэропорту имени Кеннеди, они прямо направились в конференц-зал, где их ждал весь цвет американской журналистской братии. Естественно, что там оказался и Мюррей К.

Это трудно было назвать честным состязанием. Журналисты сгрудились в толпу и начали задавать вопросы. Но Мюррею К. удалось проползти у них между ног, и он оказался прямо у ботинок «Битлз». Этот человек в соломенной шляпе, с идиотской улыбкой ползал там, поднимая свой микрофон все выше и выше. При этом он трещал без умолку. И победил! Он подавил всех остальных. Он превратил официальную пресс-конференцию в фарс. Но он добился того, что его имя произнес сам Пол Маккартни. «Мюррей К.,— сказал он, глядя сверху вниз,— вали отсюда!»

Это уже было бессмертие: журналисты получили свою обычную рутину, а Мюррей К. получил нечто исключительное. «Вали отсюда!» из уст самого Маккартни. Это было все. Сенсация столетия. Мюррей был на верху блаженства.

С этого момента он рыскал за «Битлз», как частный детектив, он ночевал в одном номере с Джорджем Харрисоном, он записывал на пленку каждое его слово перед отходом ко сну и сразу после пробуждения. Он окрестил себя «пятым битлом», и это ему сошло! Мюррей К. вернулся в Нью-Йорк с горой уникальных записей. Он проигрывал их непрерывно. Вот один из образцов этой сенсационной чепухи:

«Мюррей К.: Какие дела нынче клевые, бэби?

Ринго Старр: Твои дела, бэби.

Мюррей К.: Но твои тоже, бэби.

Ринго Старр: О'кэй, у нас обоих дела клевые, бэби».

Итак, к концу турне «Битлз» Мюррей снова был наверху и остался там. В ход пошли «мюрреевские футболки» и «пластинки любимых песен Мюррея К.». Он так изобретателен, что, может быть, продержится до самой смерти. Вот как он сам говорит об этом: «Я не собираюсь цепляться за фалды битловских пиджаков. Когда они сойдут со сцены, я буду готов прицепиться к тому, кто их заменит».

Грубо, конечно, но на худой конец это уже «что-то». По крайней мере, откровенно.

«Звук Спектора»

Это сентиментальная история о бедном маленьком богатом мальчике, который действительно был талантлив. Наверное, он один из немногих, наделенных подлинным талантом.



Филу Спектору предстоит решить проблему, перед которой стоят все звезды, но справиться с которой мало кому удавалось: вы заработали свой миллион, вы записали свои хиты, но пик вашей славы уже пройден — что дальше? Впереди еще пятьдесят лет жизни. Как ими распорядиться?..

Спектор родился в Бронксе. Ему было девять лет, когда умер отец, и мать повезла сына на запад, в Калифорнию. Там он рос — маленький, щуплый, с плохими волосами и нездоровой кожей. Но он был умен и имел дар воображения. В семнадцать лет он написал песню «Знать его — значит любить его», которая стала хитом. Откуда название? Спектор вспомнил слова, высеченные на могиле отца: «Знать его — значило любить его». Подобные сентенции были типичными для тех лет. Спустя два года Спектор стал ведущим продюсером фирмы «Атлантик», еще через некоторое время — владельцем студии грамзаписи «Филлиз рекорд». Все эти годы он выдавал хит за хитом — каждая запись Спектора становилась сенсацией.

Он произвел настоящий переворот. До него молодым позволяли становиться звездами, их имена могли попадать в газеты, но они никогда не были менеджерами и продюсерами, к управлению их не допускали. Студии и агентства были целиком в руках зрелых бизнесменов. Но Спектор сокрушил старые порядки.

Он был настоящим магнатом: отдавал распоряжения, а сам не подчинялся никому. Он был невероятно удачлив и опирался только на свою энергию и на свое понимание поп-музыки. Одним ударом он разрушил старое предубеждение, будто, чтобы преуспеть на этой ниве, надо быть прожженным дельцом. Распространители пластинок, рекламные агенты, «толкачи» и издатели не простили ему этого разоблачения.

Но значение его было не только в этом: Спектор стал утешением для неудачников. В семнадцать лет этот худой, некрасивый бедный юноша, легкоранимый, ненавидящий животные инстинкты толпы, не только сумел оградить себя от всего, что ему было ненавистно, но и преуспеть в таком коварном деле, как поп-музыка. Его экстравагантный вид и поведение, в которые он вкладывал протест против окружающего, не только сходили ему с рук, но даже прославили его.

Фил Спектор увидел в поп-музыке убежище для аутсайдеров, место, где можно укрыться от мерзостей жизни. Америка представлялась ему больной, а поп-музыка — здоровой.

Он настойчиво культивировал свой имидж: творческая натура, окруженная жирными бизнесменами с сигарами в зубах, прекрасный Фил среди уродов, Фил Спектор против Америки, этой Америке он мстил своими пластинками, которые взрывались как гранаты, ошеломляя, сбивая с толку, вызывая негодование и восхищение публики.

Он брал хорошую песню, приглашал хорошую группу и затем раздувал все это в огромную пародийную симфонию, разраставшуюся до вагнеровских пропорций. Ни сама песня, ни голоса не имели значения, только звук, «звук Спектора», и нарастающий темп, импульс, порыв. Мощь, которую невозможно было обуздать.

В течение ряда лет все у него было хорошо, все ему удавалось, но это не могло продолжаться вечно — он не был рожден для безмятежной жизни. Он слишком рано добился всего, о чем только мог мечтать, а что делать дальше, черт возьми? К тому же в начале 1964 года появились «Битлз».

Теперь он уже не был самым молодым, самым модным, он стал прошлогодней моделью. Уязвленный Спектор сделал отчаянную попытку снова обратить на себя внимание, но тут пошли неудачи, одна за другой. Вообразив, что ему удалось оседлать судьбу, а в действительности оказавшись, как и все прочие, игрушкой в руках могущественных сил, Спектор был потрясен провалом. Он обозвал американских любителей поп-музыки круглыми идиотами и удалился в Калифорнию, где стал снимать авангардистские фильмы. Из этой затеи тоже ничего не вышло.

Продолжение следует

Перевел с английского
А. СОКОЛОВ

ОДУХОТВОРЯЙТЕСЬ!

Жан-Франсуа ШЕНЬО,
французский журналист

Как говорит легенда, волшебную силу нежных и томных запахов высоко ценили еще олимпийские боги. Они не хотели делиться этим секретом с людьми и мечтали сделать наслаждение ароматами своей привилегией. Но творческий порыв человека лишил Олимп этой монополии. Так родились духи.

История сохранила немало случаев, когда духи использовали в совсем неблаговидных целях. Царица Нижнего и Верхнего Египта Клеопатра, принимая римского полководца Марка Антония, приказала зажечь в зале светильники, источающие дурманящий аромат, и устлать пол лепестками роз. Известно, что произошло далее. Антоний потерял голову, предал интересы Рима, а царица добилась всего, что ей было нужно.

Отвергнутая Наполеоном императрица Жозефина обильно пропитала обивку дворцовых покоев своими духами, запах которых французский император не выносил. Бедный Наполеон долго не находил себе во дворце места, всюду его преследовал ненавистный мускусный аромат.

В средние века, в эпоху Возрождения духи числились среди средств черной магии и использовались в качестве ядов. Вспомним хотя бы надушенные перчатки наваррской королевы Жанны, вдохнув их аромат, она почти сразу же умерла.

Так говорят легенды и предания.

Однако и начало, если так можно сказать, массового производства духов восходит к довольно древним временам, а точнее к 1190 году, когда французский король Филипп II Август утвердил устав цеха парфюмеров, работавших в районе Грасса. Духи вошли в обиход богатых людей, их применяли как дезинфицирующее средство во время больших эпидемий, то и дело поражавших Европу, в XVI и XVII веках парфюмерией компенсировали поразительное отсутствие гигиены.

В XVIII веке Париж завоевывает право называться столицей элегантности и законодателем мод. С тех пор и по наши дни французская парфюмерия распространяется во всем мире. Екатерина II и русская аристократия были среди основных покупателей французских духов, белил, румян и т. д. Уже тогда это дело было поставлено на широкую ногу. В 1806 году доктор Карон издал трактат о духах «Энциклопедия красоты», Бальзак изобрел состав туалетной воды и сам приготовлял ее, несколько позже Бодлер сочинил цикл стихов «Экзотические духи», духами даже пропитывали одну из газет того времени.

В 1828 году Пьер-Франсуа Герлэн открыл в Париже парфюмерный магазин и получил патент официального поставщика императрицы Евгении. Названия духов отражали состав покупателей Герлэна: «Императорские духи», «Отрада принца» и т. д.

Развитие органической химии превратило кустарное парфюмерное производство в настоящую индустрию. В наши дни парфюмерия занимает во Франции 3-е место по объему экспорта, после автомобилестроения и атомной промышленности. Продукцию французских парфюмеров часто называют произведением искусства. Не случайно в нью-йоркском музее современного искусства «Метрополитен» выставлен флакон духов «Шанель № 5» как полномочный представитель творчества парфюмеров.

В мире наиболее распространены примерно 150 марок французских духов. Каждая из них содержит не менее трехсот компонентов, подбор и дозировка которых — великий труд и великий секрет, столь же строго охраняемый, как и военные секреты. Тех, кто создает чарующие ароматы, называют «носами». Во всем мире всего несколько человек удостоены этого титула. Каждое утро маэстро «нос» тренирует свое обоняние: словно разыгрывая гаммы, он нюхает триста флаконов с основными эссенциями, окуная в них крошечные полоски специальной бумаги. Требуется несколько месяцев, а то и лет, чтобы изобрести новый аромат, а каждый год их появляется более двадцати. Лишь создателю известна магическая формула очередного чуда, ведь благоухающие капли стоят баснословно дорого. Для их производства вручную на рассвете срезают розы Болгарии и жасмин из района Грасса: требуется миллион едва распустившихся цветков (каждый весит всего 0,1 грамма), чтобы получить один килограмм сырья.

Крупные производители одежды — законодатели мод, такие, как Шанель, Диор, Ланвэн, Риччи, Пату, очень скоро поняли, что духи — синоним индивидуальности — совершенно необходимы как дополнение к одежде. Появились и производители-гиганты, например, фирмы «Ореаль», «Ланком», «Корреж», «Ларош». Свои парфюмерные компании основали известные актеры Ален Делон и Жан-Луи Трентиньян.

Теперь на парфюмерию работает статистика, реклама, не говоря уже о химии и фармакологии. Так, например, подсчитано, что 76 процентов французских женщин пользуется косметикой, и почти каждая из них знает фразу поэта Поля Валери «Женщина, которая не пользуется духами, не имеет будущего», подсказанную мастерами рекламы. Духи употребляют для собственного удовольствия, с их помощью самоутверждаются, в них находят успокоение, ими привлекают, очаровывают. Духи иногда могут быть лучшим напоминанием о человеке. Это также прекрасный способ не отстать от моды.

Предмет роскоши стал предметом первой необходимости. Это новое явление, свойственное только нашим дням. Сейчас охотнее экономят на одежде или еде, чем на парфюмерии. Она вошла в повседневную жизнь, стала частью гигиены.

Однако, несмотря на свои преимущества, французская парфюмерия не может себе позволить почивать на лаврах. Ей приходится вести конкурентную борьбу на всех фронтах: качество духов, форма и материал упаковки, оригинальность и декоративность флаконов. Бремя славы имеет свои минусы. Крупные парфюмерные фирмы вынуждены содержать целые армии высококвалифицированных юристов и легионы детективов, рыскающих по всему миру в поисках подпольных фабрик, изготовляющих подделки. Нелегальные предприниматели всеми силами стремятся проникнуть в тайну формул духов, рождающихся во Франции. Изготовляемые ими подделки под маркой знаменитых фирм дискредитируют французских экспортеров, нанося тяжкий урон их престижу. Неудивительно, что в этой сфере ведется настоящая война. Известны случаи, когда французские парфюмерные фирмы, обнаружив где-нибудь подпольную фабрику, подкупали местного диктатора, а иногда даже разрушали здания, где изготовлялись подделки.

Перевела с французского А. ГРАЧЕВА



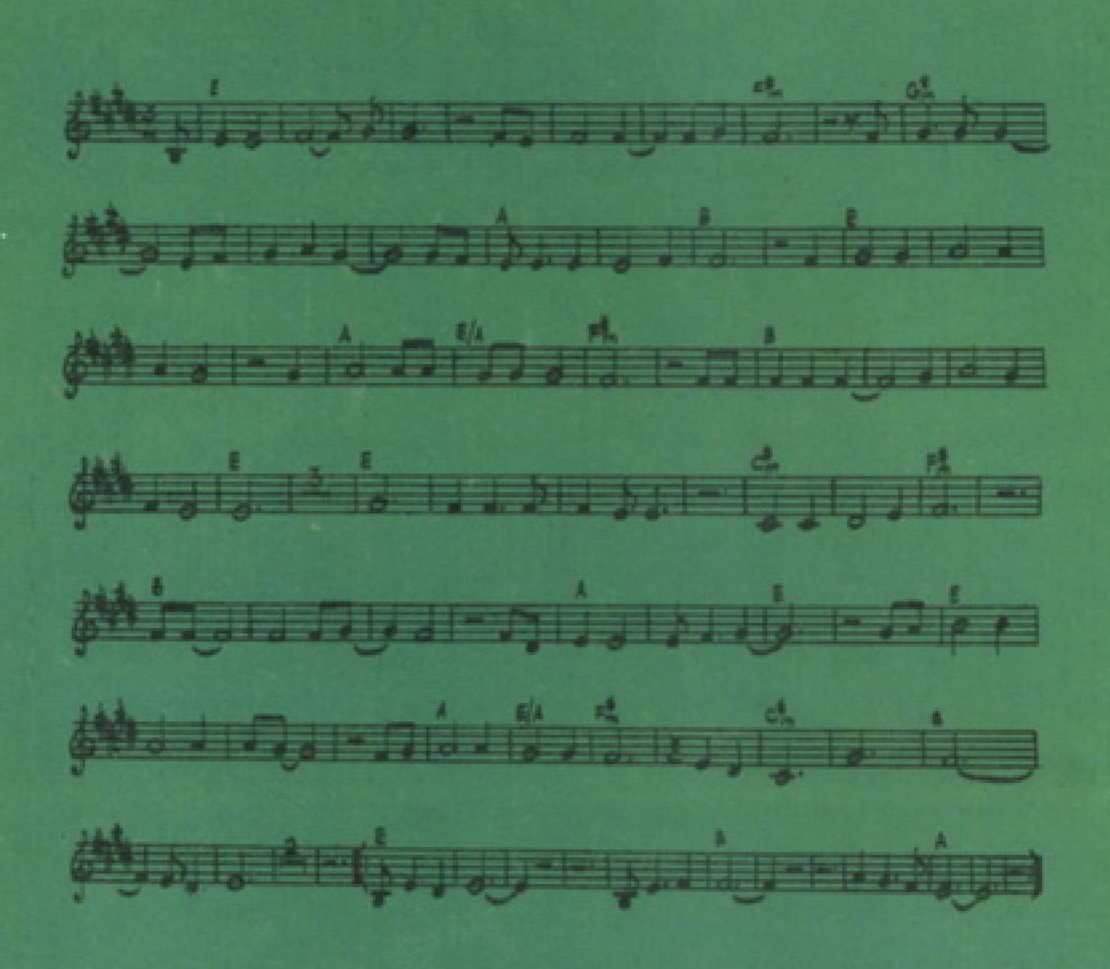


Финальные слова песни «Журавлики над Хиросимой» — «О том наш вопль, о том наша мольба: мир во всем мире!» — начертаны на памятнике Садако Сасаки в городе, на который сорок лет назад была сброшена атомная бомба. Памятник — фигурка девочки с журавликами.

Эту девочку знают во всем мире. Знают о том, что когда Садако заболела лучевой болезнью, ей вспомнилась древняя японская легенда, согласно которой к тому, кто сложит из цветной бумаги тысячу журавликов, вернется здоровье. Но Садако успела сложить только шестьсот сорок четыре...

Дети всего мира научились складывать журавликов. Дети всего мира по сей день шлют их в Хиросиму.

А песню «Журавлики над Хиросимой» написал американец Фред Смолл. Впервые она была исполнена в августе 1983 года участниками Марша мира на Вашингтон, где сорок лет назад было принято преступное решение сбросить на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы.



1. The baby blinks her eyes as the sun
falls from the sky.
She feels the stings of a thousand fires
as a city around her dies.
Some sleep beneath the rubble,
Some wake to a different world,
From a crying babe will grow a laughing girl.

Припев:

Cranes over Hiroshima,
White and red and gold.
Flicker in the sunlight
Like a million vanished souls.
I will fold these cranes of paper
To a thousand, one by one.
And I'll fly away when I'm done.

2. Ten summers fade to autumn,
Ten winters' snows have passed.
She's a child of dreams and dances,
She's a racer strong and fast,
But the headaches come ever more often
and the dizziness always returns.
And the word that she hears is leukemia, and it burns.

Припев.

3. Her ancestors knew the legend —
if you make a thousand cranes
From squares of coloured paper,
it will take the pain away.
With loving hands she folds them,
six hundred fourty four.
Till the morning her stumbling fingers
can't fold any more.

Припев.

4. Her friends did not forget her —
crane after crane they made,
Until they reached a thousand
And they laid them upon her grave.
People from everywhere gathered,
together a prayer they said,
And they wrote the words in granite
so none can forget.

Хор:

This is our cry
This is our prayer
Peace in the world.

Главный редактор А. А. НОДИЯ

Редакционная коллегия: В. А. АКСЕНОВ, В. Л. АРТЕМОВ, Я. Л. БОРОВОЙ, С. М. ГОЛЯКОВ, А. С. ГРАЧЕВ, С. А. КАВТАРАДЗЕ, В. Б. МИЛЮТЕНКО, В. П. МОШНЯГА, Д. М. ПРОШУНИНА (зам. главного редактора), Н. Н. РУДНИЦКАЯ, Э. М. САГАЛАЕВ, В. Г. СИМОНОВ

Художественный редактор В. В. Рыжов
Оформление И. М. Неждановой
Технический редактор Н. А. Строева

Адрес редакции: 125015, Москва, ГСП, Новодмитровская ул., 5а. Телефон 285-89-20. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на ежемесячник.

Сдано в набор 11.06.85. Подп. к печ. 16.07.85. А00841. Формат 84×108 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 13,4. Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 1 250 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 1136.

Издательство и типография «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

Индекс 70781
Цена 35 коп.